

# ВРЕМЯ ШМБ 71 1983

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- ЗАПИСКИ  
КРЕМЛЕВОДА
- ТРОПА  
ДИНОЗАВРА
- НОВЫЙ  
ВЗГЛЯД НА  
Ю. ТРИФОНОВА
- ПЛАТА ЗА  
ПРЕДАННОСТЬ
- МОРАЛЬ  
ЭМИГРАЦИИ



*Д. Шляпентох*  
Товарищи, мы в  
Кремле!



# ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

*Девятый год издания*

Выходит один раз  
в два месяца

---

**71**  
**1983**

МАРТ-АПРЕЛЬ

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1983

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА</b>           | <b>КАРЛ ПРОФФЕР</b>                    |
| <b>ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД</b>         | <b>АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ</b>           |
| <b>МИХАИЛ КАЛИК</b>              | <b>ИЛЬЯ СУСЛОВ</b>                     |
| <b>АСЯ КУНИК</b> (отв.секретарь) | <b>ДОРА ШТУРМАН</b> (зам.гл.редактора) |
| <b>ЛЕВ ЛАРСКИЙ</b>               | <b>ЕФИМ ЭТКИНД</b>                     |
| <b>ЛЕВ НАВРОЗОВ</b>              |  |

**Израильское отделение журнала "Время и мы"**

**Заведующая отделением Дора Штурман**  
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

**Французское отделение журнала "Время и мы"**

**Заведующий отделением Ефим Эткинд**  
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800 PUTEAUX  
FRANCE

**Представители журнала:**

**Англия**            **Александр Штротас**  
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick,  
Brighouse W. Yorkshire HQ6 3PZ ENGLAND

**Западный**        **JuscwaMischijew**  
**Берлин**           **Hussiten Str. 60, 1000 Berlin 65**

OCR и вычитка — Давид Титиевский, январь 2011 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**СОДЕРЖАНИЕ**

**ПРОЗА**

*Дмитрий ШЛЯПЕНТОХ*  
Товарищи, мы в Кремле! . . . . . 5

**ПОЭЗИЯ**

*Лия ВЛАДИМИРОВА*  
Март. . . . . 64  
*Вилен БАРСКИЙ*  
Глотаем соль. . . . . 72  
*Андрей КЛЕНОВ*  
Лесная повесть. . . . . 75

**ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА**

*Виктор ПЕРЕЛЬМАН*  
Механизм безумия . . . . . 83  
*Б. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ*  
Плата за преданность . . . . . 107  
*В. ЛИТВИНОВ*  
Нестор Махно и евреи. . . . . 118  
*Игорь ЕФИМОВ*  
Писатель, расконвоированный в историки. . . . . 139

**НАШЕ ИНТЕРВЬЮ**

*Михаил ВЕРБОВ*  
Я не бизнесмен, я — художник. Интервью Б.Езерской . . . 154

**ПОЛЕМИКА**

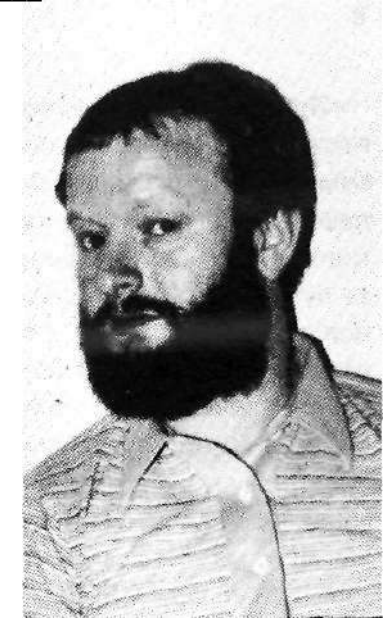
Разговор о морали эмиграции. . . . . 168

**ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО**

*Дора ШТУРМАН*  
Тетрадь на столе. . . . . 179  
*Надежда УЛАНОВСКАЯ*  
Жизнь и смерть Михаила Якубовича. . . . . 217

**ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"**

Бунин, Жером Бонапарт и другие. . . . . 242



*Дмитрий ШЛЯПЕНТОХ*

## **ТОВАРИЩИ, МЫ В КРЕМЛЕ!**

*Записки кремлевода*

### **ОРГАНЫ**

"А ну, подойди ко мне, сынок!" — обращается ко мне дядька лет пятидесяти в милицейской форме. Дядька — в лицо я его не знал (может быть, это новый "искусствовед в штатском", а может быть, провинциальный милиционер, правдами, а скорее всего, неправдами получивший московскую прописку) — нежно обнял меня. Почти так же, как обнимают друг друга вожди. Я это часто видел по телевизору.

Так вот, заключив меня в свои объятия, дядька начинает ласково проводить своими шершавыми пролетарскими ладонями по моей спине, а затем по животу. Случись это на Западе, я бы решил, что у него определенно порочные наклонности. Но тут был не Запад, а Восток, и я не испугался за свою честь и тотчас все понял: у меня ищут бомбы. Нет, это вовсе не потому, что я на плохом счету. Таких вообще в Кремль не пускают и экскурсий не доверяют. Это вам не шуточки. Это идеологическая работа.

---

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Просто периодически необходимо удешевить бдительность. Для профилактики. Чтобы не ржавела. "А что у тебя в сумке?" Я открываю сумку. Дядька запускает в нее свою ладонь-лопату и извлекает "Феноменологию духа". "Умные книжки читаешь. Студент?" — "Нет. Я тут работаю". — "А что за бумажку ты там бросил?" — "Какую там бумажку?" — "А вон ту", — толстый перст-обрубок указывает в конец Александровского сада, где я действительно бросил на тротуар фольгу, в которую обычно заворачивают эскимо. В Кремль с мороженым не пускают, дабы граждане не мусорили, и он действительно своей чистотой выгодно отличается от многих западноевропейских достопримечательностей. "Так это простая бумажка из-под мороженого", — отвечаю я не без смущения. Могут ведь в Бюро позвонить и сообщить, что я мусорю, веду себя некультурно, а это никак не соответствует высокой должности экскурсовода.

Я поспешно бегу к бумажке и через несколько минут вручаю дядьке скомканный комок. Он вертит его со всех сторон и разочарованно вздыхает: "Да, действительно бумажка". В голосе тоска промахнувшегося охотника. А вот оно что, догадываюсь я, он тут не за чистотой следил, а предотвращал диверсию. Ведь, наверно, их там инструктировали, что читатели Гегеля всегда имеют наклонности. Порочные. Полагают, наверно, что через них там вещает абсолютный дух. Но я не такой. Я скромный и вещаю лишь то, что мне положено вещать по штату. Ни больше, ни меньше. Мой дядька это понимает и, ласково так хлопнув меня по заднице, отечески напутствует: "Ну ладно, сынок, иди работай".

И вот я работаю, вернее, халтуру уже целых тридцать минут. Перед приближением к Кремлю я металлическим голосом произношу: "В Кремль с сумками и прочей кладью не пускают". — "И с бомбами тоже", — слышу я голос какого-то шутника. Пропускаю эту провокационную реплику мимо ушей. "Вот тут камера хранения, прошу сдать всю ручную кладь. За деньги и ценности камера ответственности не несет".

Так нужно. Возможны акты террора. Индивидуального. Который мы отрицаем. По причине "нецелесообразности" (В.И. Ленин "Детская болезнь левизны в коммунизме"; интересу-

ющийся отношением Владимира Ильича к террору может найти соответствующую информацию в полном собрании сочинений его работ). Но все же лучше его не допускать. На территории Кремля. На всех других территориях, особенно зарубежных, — пожалуйста.

А чтобы у граждан не возникло искушения занести на территорию Кремля бомбу, устроена под мостом, ведущим к Троицким Воротам, камера хранения. Для хранения бомб, а также сумок, мешков, саквояжей, баулов, чемоданов и авосек с апельсинами и мандаринами. Только нас, кадровых экскурсоводов, впускают в Кремль с сумками. Это не привилегия, а доверие. Заслужено нами многими годами работы и проверки.

Граждане покорно сдают кладь. Я же, набирая темп, стремительно несусь вдоль Александровского сада. За мной еле поспевает уставшая и уже изрядно поредевшая группа. Я кокетливо подмигиваю. Мне мигают в ответ.

Нет, вы не угадали, это не девочки. Тут совсем другое. Дюжий малый, с которым я перемигиваюсь, — "искусствовед в штатском". Подмигивание — единственно разрешаемое приветствие. Здраваться не разрешено. Во всяком случае, не рекомендуется. Конспирация.

В общем, они для нас, экскурсоводов, не опасны. Неизмеримо большие неприятности может принести встреча с представителем Городского Совета по туризму: он-то как раз и проверяет, за сколько времени мы провели экскурсию, или раскрыли ли там Программу мира во всей ее полноте. "Искусствоведов в штатском" это совершенно не волнует. Даже к идеологическим вопросам они относятся спустя рукава. Сколько раз мы рассказывали сомнительные анекдоты, сидя на лавочке у Боровицких Ворот, сколько раз писались письма на Запад, да притом еще к заведомым антисоветчикам, но ни разу я не слышал, чтобы за это хоть кого-то тревожили Органы.

Уж скорее, сами братья-экскурсоводы друг на друга наклепаются или клиент политически зрелый может попасться, из провинциалов обычно. Уловит что-нибудь странное в речи товарища экскурсовода, непривычное для уха — и напи-

шет куда следует: дескать был на экскурсии по каналу имени Москвы, а товарищ гид стал нам говорить, что канал этот строили заключенные и столько-то сотен тысяч отправилось в лучший мир. Подобный взгляд на наше славное прошлое кажется мне несколько странным. Прошу разобраться. А далее имя и фамилия гида, точнее гидши. Ее, если я не ошибаюсь (это была внештатница, почасовичка), разоблачили и уволили.

Органы практически никогда этим не занимаются. Только однажды, слышал я, вмешались они в идеологическую работу. Одна наша внештатница, студентка, подрабатывающая летом, так разомлела от нежности к Ильичу, что, подойдя к зданию Совета Министров, где он, как известно, жил, сказала: "А вот тут Владимир Ильич с Надеждой Константиновной Крупской свили себе уютное гнездышко". Тут перед самым ее носом вырос дюжий молодец в штатском: "Еще раз "совьешь гнездышко" и можешь на работу не приходите". Промолвил и смылся, а что было со студенткой, не знаю. Но все это, скорее, исключения, чем правило. К нам, экскурсоводам, были они достаточно либеральны и мало чем отличались от нас по своим повадкам и мышлению: так же, как мы, они были недовольны своим жалованьем, продвижением по службе и тому подобным. Как и все "простые советские люди", представители Органов были не прочь пофрондировать и даже расказать откровенно антисоветский анекдотец.

Недовольны чекисты прежде всего своей зарплатой. Жалуются. Помню хорошо одного из них. Мужик средних лет, подтянутый, брюхо не висит, как у многих из его коллег. Часто охранял он в милицейской форме вход в Боровицкие ворота. Тут время отметить, что "искусствоведы в штатском" чаще всего являли себя миру в трех ипостасях: в обычном костюме, как все посетители, с повязкой распорядителя и в милицейской форме. Это была метаморфоза, через которую проходил практически каждый из знакомых мне сотрудников.

Место службы, однако, не было predetermined: агент мог быть отправлен к Мавзолею, в Александровский сад или же непосредственно в Кремль. Но мой знакомый почему-то

чаще всего нес службу у Боровицких ворот. Может быть, начальство шло навстречу его пожеланиям, а может быть, мне просто показалось.

Среди прочих чекистов выделяло его то, что в отличие от других гебистов он отдавал экскурсоводам честь. Мне лично тоже. Это льстило. Чувствовал себя тоже начальником.

Был он человеком простым, открытым, и я иногда с ним беседовал или, вернее, обменивался репликами. Не шибко тут разговоришься: свой, быть может, работник, как будто дружелюбен, а все же чекист: схватит мышку коготочками, легонько придушит и сожрет начиная с головки, и не по злобе он это сотворит или кровожадности и даже не для пользы дела, а так, по привычке, инстинктивно. Сожрет, а затем, быть может, расстроится даже — сгубил, дескать, не за понюшку табаку хорошего человека, да поздно будет.

Все же кое-какими словечками мы перекидывались, как мячиками, особенно если град, снег или какая другая непогода загоняла нас в Боровицкие ворота. Тут под толстой многовековой кладкой мы и оказывались вместе.

Нет, он мне положительно доверял. Ведь нельзя было тут стоять никому, кроме самих чекистов. Дело в том, что правительственные "Чайки" в этом месте вплотную подъезжают к тротуару. Однажды некий гражданин стал отсюда стрелять то ли в космонавтов, то ли в Генерального секретаря ЦК КПСС, то ли во всех подряд. С той поры и запрещено было останавливаться здесь посторонним гражданам, к Органам непричастным. (Естественно, что сообщение о досадном инциденте немедленно приводило к увольнению экскурсовода.)

Вот однажды, в какой-то мерзкий день, стоим мы под Воротами, продуваемые холодными ветрами. "Собачья погода", — говорю я. "Собачья!" — радостно подтверждает мой чекист. "Мы-то ни за что мучаемся, за гроши, — продолжаю я жаловаться, — а вот вы хоть приличные деньги зашибаете". — "Это ты зря. На нашу зарплату тоже тут шибко не разгуляешься. Еле хватает". — "Но у вас хоть распределитель есть", — продолжаю настаивать я.

Я неоднократно видел солидных граждан, кои с какой-то суетливой опаской (казалось, что они несут наворованное

имущество) тасили какие-то свертки. И было у меня подозрение, что несли они в свертках не золотые слитки из Алмазного Фонда СССР, не царские регалии из Оружейной Палаты, не иконы Андрея Рублева или Феофана Грека из Благовещенского собора, а продукты питания. На наличие этих граждан со свертками я и намекнул моему чекисту. "Не про нас тот распределитель", — грустно ответил мне он. "А у вас что ли никакого нет? Не поверю", — не отступал я. "Есть-то он есть, — тяжело вздохнул он, как бы исповедуясь в грехе, не столь сладостном, сколь обременительном, — но цены там обычные, государственные. Колбаса сухая там, балычок, рыбка, консервы — все дорого! На что оно мне? С нашей зарплатой не по карману".

Не довольны чекисты и своим продвижением по службе. Многих из них я видел гуляющими по Кремлю годами. Какая-то сосредоточенная безнадежность, задубелость была в их откормленных телах. Морозец, прихвативший всю брежневскую иерархию, не обошел и Органы. Все застыло в законченных египетских формах. И если поколение назад перманентные чистки и перетряски сталинской и хрущевской эры постоянно создавали вакансии, то нынешнее спокойствие оказалось для них убийственным. Они обрели стабильность и больше не просыпаются в холодном поту по ночам, но знают, что вверенный им пятачок на Красной Площади вполне может быть их первой и последней работой.

Есть деньги, на которые они могут сносно существовать, но отнюдь не так, чтобы можно было разойтись. Какой-нибудь фотограф, щелкающий приезжих у царь-колокола или царь-пушки, может получать в два, а то и в три раза больше.

И беспартийный этот фотограф может с бабами крутить направо — и ничего ему не будет. А вот узнай законная половина нашего "экскурсовода", что он балуется на стороне, так, не медля, побежит в парторганизацию. Начнет жаловаться, слезы по щекам размазывать, управы на него требовать. И найдет ведь, бестия, управу: вызовут на ковер и так пропесочат, что потом целый месяц чесаться будет.

А социальный престиж? Понятно, что и раньше никакого престижа не было. Презирали, ненавидели, но боялись и улы-

бались заискивающе. А сейчас уже не то, во всяком случае, не улыбаются; что там ни говори, а власти былой нет.

Рассказывали мне про молоденькую гебисточку, пытавшуюся с помощью своей бордовой книжицы качать права в одном из сочинских ресторанов. Ее там то ли обсчитали, то ли что-то не довесли, и решила она показать, кто она есть. Вызвала директора, вытащила книжицу, была она — это нужно отметить — изрядно навеселе и стала грозить, что сгноит на Колыме весь их проворовавшийся вонючий ресторан. Прибывшее ресторанное начальство смиренно выслушало и попросило изложить все это на бумаге. Гебисточка изложила. Затем то же начальство попросило ее, опять же очень смиренно и даже униженно, подписаться как под жалобами, так и под угрозами сгноить ресторанных работников на Колыме. Полагая себя победительницей, гебисточка подписала оба этих листа, кои с соответствующей сопроводительной запиской были направлены на место ее службы. Вышел грандиозный скандал для гебисточки. Никому не дано права прикрываться бордовой книжицей и трясти перед мордами обывателей гербом Союза Советских Социалистических Республик только потому, что вместо армянского коньяка тебе выдали грузинский, а солянку невозможно есть.

Ни денег, ни власти, ни мобильности. Да и работа сама по себе тоже не сахар: дождь, град, жара, холод, а ты будь на посту, бди. А случится что — так ты всегда в ответе, с тебя спрос, тебе и по голове дадут. Все это делает жизнь работников Органов, особенно тех, кто находится внизу пирамиды, серо-беспросветной.

По-разному гебисты реагируют на это положение. Большинство, видимо, ничем не отличается от "простых советских людей": смиряется с ним, как с неизбежным злом.

...С потухшим взором, обалдевшие, пришибленные монотонной безнадежностью, они меряют шагами вверенный им пятачок. Несут свой служебный крест. У большинства давно уже нет в походке хищной пружинистости охотника, агента власти, чувствующего силу. Не замечал я и довольной ухмылки кота, пресытившегося мясом, и посему с добродушием оглядывающего мельтешащих вокруг мышек-посетителей

"центра нашей Родины". Ничего подобного. Мало того: стоит работникам Органов превратиться из агентов власти в простых граждан, как они тотчас обнаруживают детскую беспомощность.

Помнится мне, однажды один из гебистов, прогуливающегося по Александровскому саду, решил что-то купить — то ли сигареты, то ли свежую газету. Около киоска стояла длинная очередь, а он был на работе и никак не мог выстаивать. Предъявить бордовую книжицу тоже не мог — вот он и попросил граждан, вежливо очень, пропустить его вперед. Толпа загудела от возмущения, словно пичужки, обнаружившие днем в дупле филина, наводившего на них такой страх по ночам. Пичужки загорланили и потребовали, чтобы нахал немедленно встал в конец очереди. Гебист беспомощно захлопал глазами и подчинился.

Многие гебисты были обладателями солидных животов и не прочь были поговорить на кулинарные темы. В России были у меня на этот счет следующие объяснения. Во-первых, я полагал, что сам их характер труда способствовал обжорству. После двух-трех пробежек по Кремлю я и сам приезжал домой с волчьим аппетитом. Во-вторых, я был уверен, обжигались они и из престижных соображений: ведь они не просто потребляли вкусную пищу — какую-нибудь там копченую рыбку или колбаску, но дефицитный продукт, продукт, символизирующий их принадлежность к власти имущим. Балычок и колбаска должны были оправдать обжигающие, студёные ветры, липкий, потный зной и монотонную беспросветность жизни.

Бесспорно, оба эти фактора способствовали росту гебистских животов, но не только это. На Западе я заметил (тут я, конечно, не делаю никакого открытия), что величина брюха часто обратно пропорциональна социальному положению и успеху как таковому. Преуспевающий бизнесмен строен, костляв и боится прибавить даже полфунта, а вот получатель общественной помощи — то, что в Америке именуется "велфейр" — часто толст до безобразия. Ему терять нечего, стремиться тоже не к чему, даже сексу свою жизнь посвятить

он не может — в силу социального статуса его шансы на покорение прекрасного пола у него крайне малы. Обжорство для него — единственная утеха. Так вот, понял я тут, в Америке, что между гебистами и получателями велфейра нет большой разницы.

Гебист, как и велфейрщик, не может даже употребить жизнь (или во всяком случае значительную ее часть) на занятие сексом. Препятствие для первого — его служебное положение, для второго — низкий социальный статус. Служебное же положение не позволяет гебистам более или менее основательно прикладываться к бутылке. Так что омлеты, балычки и колбаски для них, как и для многих советских людей брежневского царствования, — единственный объект стремлений. И ведут они кулинарно-гастрономические беседы вовсе не по причине их политической безопасности, а просто потому, что других тем нет.

"Пенсия, пенсия!" — часто слетало с их уст. Был в этих словах, возможно, скрытый страх потерять работу и возможность получать балычок. Но слышалось и иное: успокоение, примирение с миром. Какой-то скрытый стоицизм! Не бегать по этой проклятой брусчатке день и ночь, не закручивать руки, не отвечать за бомбы, самосожженцев, идиотов, диссидентов, искателей истины, ходоков, жидов и так далее и тому подобное. Ложиться спать и вставать, когда хочется, и пить, когда и сколько хочется. Слушать "Голос Америки". Сажать помидоры. Чинить крышу собственной дачи где-нибудь под Москвой. "Пенсия, пенсия..."

...Летний вечер. Парная, душная истома солнечного и уже уходящего дня дожимает из меня седьмой пот. Рядом со мной знакомый гебист — молодой парень, присоединившийся к моей группе. Нет, тут дело не в служебном рвении, а скорее, в тоске, в желании поделиться с кем-то, ну если и не словом, то хоть взглядом, просто пройтись по аллее среди пушистых кустиков, среди похожих на свечи сосен со смородинами-воронами на ветках и глянцевого, под бобрик подстриженной травы. Вдруг в животе его слышится: "Пост номер шесть. Прием...". Это рация. Она обеспечивает связь между постами



и позволяет в мгновение ока сконцентрировать гебистов в наиболее опасных участках.

"Как мне все это надоело!" — как бы разговаривая с самим собой, говорит в пространство мой сопровождающий. Чревоушание прекращается. Скорее всего, вышестоящее начальство удостоверилось, что агент на посту, а не в пивной и зря не получает зарплату и талоны в распределитель. А может быть, — и это вполне возможно — выключил мой агент надоевшую ему рацию.

"Как мне все это надоело!" Он тяжело вздыхает и исчезает в одной из аллей.

Оказывается, не только мне это все надоело, но даже им, работникам Органов. А что, собственно, надоело? Советская власть? А что такое для них советская власть? "Общественная собственность на орудия и средства производства"? "Плюс электрификация всей страны"? "Марксизм-ленинизм"? "Сиськи-масиськи"? Все это абстракции, "Слова, слова, слова", — как говаривал Гамлет.

К чему стремиться, если все пути отрезаны? И нет тут иной цели, кроме колбаски и стакана "Пшеничной", И, может быть, есть еще у некоторых вера в службу и исполнение долга. Этаким стоицизм. Так что Марк Аврелий (он ведь, хочу напомнить, не только философские сочинения писал, но и на крестах распинал и руки заламывал — такая уж римский кесарь нелиберальная должность) — так вот, Марк Аврелий, замешанный на сухой колбаске, может быть, и есть наш смирившийся гебист.

Большинство смирялось, но некоторым стоицизм, даже с колбаской и ветчиной, был явно недостаточен для душевного равновесия. И на пенсию не желали уходить. И карьеры жаждали. И выходили из себя, когда видели, что с этим не получается.

Помнится мне один такой шустренький. Я его встретил во время одной из своих первых экскурсий. Мы были ровесники или почти ровесники. Оба выпускники МГУ. Только я с истфака, а он с юрфака. Я начинаю свою кремлевскую карьеру экскурсоводом Московского Городского экскурсион-

ного бюро, а он работником внешней охраны Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР.

Он явно от своих собратьев отличался. По-западному строен, подтянут, на пузо и намека нет. Следит, наверное, за собой, на "Столичную" с жирной ветчиной и хлебом не напирает. Может быть, даже по утрам бегают трусцой, кто его знает. Лицо умное. Во всем видна скрытая, нерастроченная энергия: в пружинистом быстром шаге, в схватывающих детали глазах, в резком, отчетливом голосе.

Стояли мы тогда у Боровицких ворот. Разговорились. Вернее, говорил он, а не я. Говори я слишком много с работниками Органов (несмотря на их равнодушие к идеологическим вопросам), я бы не проработал пяти лет в Кремле. "В государстве много неурядка, — говорил он четко и ясно, как бы отвечая хорошо затверженный урок или выступая на собрании, — и неурядок этот от бюрократизма, и мы, — тут он делает ударение, — с ним будем бороться".

Как он попал в Органы? Известно, что заявлений типа: "Хочу вступить в ряды славных советских чекистов" там не принимают. Не ты выбираешь Органы, а они тебя. Это, полагаю я, древняя традиция. Органы предлагают, а твое дело принять предложение или нет. Он не отказался. Он — выпускник Московского университета.

Что толкнуло его? Что бросило в нежные, терпкие объятия? Ненависть к классовым врагам? Давайте на минутку предположим, что у некоторых граждан действительно есть эта самая ненависть. Но что такое эта ненависть, если она действительно есть? Диссиденты, белогвардейцы, империалисты, сионисты приблизительно так же задевают эмоции среднего советского человека, как Степан Разин, Юлий Цезарь, Сенека или Пелопоннесская война. Это не живые события и люди. Это абстракции. Формулы. И ненависть, если она и есть у кого-либо, — это ненависть-пустышка. И не она привела моего героя в Органы.

Патриотизм? Патриотизм — не абстракция. Но я думаю, в качестве офицера на советско-китайской границе он был бы куда нужнее. Но не потянуло его на восток.

Наконец, может быть, решающими факторами оказались балычок, деньги на обмундирование, приличная зарплата и прочие незамысловатые радости? Очень даже возможно, что они сыграли свою роль. Человек вообще гораздо проще, чем он иногда кажется. Но сводить все к распределителю здесь тоже нельзя. Ведь нельзя же его равнять с коллегами, которые кончили какую-нибудь Высшую школу КГБ или МВД, где слова "наука" или "литература" вообще не существовали. Балычок и двести граммов "Пшеничной" изначально светили там, как маяк.

Наш герой кончил МГУ. Я, выпускник Московского университета, отнюдь не идеализирую эту организацию и ее студентов. Но все же есть там мальчики (девочек что-то я не видел!), которые думают не только о джинсах, зарплате и карьере, но и читают книжки, и не только те, которые нужны для сдачи экзаменов, но и хотят что-то открыть, что-то написать. И существует престиж науки, хотя бы формальный, — этот университет знал не только преподавателей истории КПСС, но и Герцена, и князя Трубецкого.

И вот представьте себе, что о карьере нашего знакомого узнают его приятели по юрфаку, по университету вообще. Да тут сморщит нос не только специалист по Пуфендорфу и естественному праву, и не только его более предприимчивый собрат, пишущий диссертацию о "развитии советского судопроизводства в свете решений очередного съезда", но даже тот, кто выбрал партийную карьеру. "Имя рек? В Ке-Ге-Бе?" Я хорошо представляю одного из его однокашников с трубкой у уха и пережевывающего в процессе разговора бутерброд: "Шу-стер, бродяга! Как диссер? Диссер движется. Завтра отдам главу шефу. Да, да, ты прав, нужно главу переделать, новое постановление вышло. А он, конечно, шустер. Ох, шустер!"

Разве не понимал все это мой коллега по кремлевской работе? Конечно понимал, судя по всему, он не был дураком. Так, почему же пошел? Почему бегаёт по Кремлю в холод, дождь, град и жару, как я, — жид, беспартийный, образование высшее, гуманитарное? А объясняется все это, я думаю, одним словом — и имя ему — "власть".

Нет, конечно, реальной власти у работника внешней охраны, "топтуна" не было, и это он понимал, но, глядя в будущее, он видел ее сияющие вершины. Сейчас он ничто и нет у него прав энкаведиста тридцатых годов, когда даже жалкий лейтенант мог наложить лапу на целую семью: подвести под расстрел мужа, превратить в наложницу жену, разметать по детским домам детей. Но и его, нашего героя, положение не безнадежно, если вырастет в гебистско-партийного чиновника хотя бы среднего звена. Тогда уж он отыграется на своих приятелях и однокашниках, презрительно кривящих губы и панибратски приветствующих его на улице. Сейчас они снисходят к нему, а тогда роли поменяются. Захочет специалист по социалистической законности или Пуфендорфу съездить на Запад — и тогда-то приползет к нему, спокойно восседающему в своем уютном креслице. Приползет, хвостиком повиляет и ручку и другие части тела полижет. Потому что все люди дерьмо, и все хотят стать "выездными". И все любят джинсы. Даже эти, как их там называют, интеллектуалы. Такие вот, думаю я, мыслишки юркими кузнечиками прыгали в мозгу моего знакомого, вручившего себя и свой эмгеушный диплом Органам.

Но вот проходили годы. Я бегал по площади, отчаянно пытаясь где-то зацепиться и напечататься. И он бегал. И ему тоже хотелось эту площадь покинуть. У меня ничего не получалось. И у него ничего не получалось. У него по одним причинам, а у меня по другим. А может быть, по одним и тем же? Кто тут знает? Я бесился. И он бесился.

Он уже больше не вступал со мной в разговор. Не говорил об "отдельных недостатках", должных быть искорененными Органами при поддержке общественности. Однажды я сам подошел его поприветствовать. Дабы не прерывать приятельских отношений. Я всегда так старался поступать со знакомыми гебистами. Для собственного комфорта, исходя из концепции Молчалина, советовавшего, как известно, угождать "всем без изъятия".

"Здравствуйте, здравствуйте!" — приветствовал я его с американским оптимизмом. В моем бодром голосе как бы звучало: все хорошо; день солнечный; мы оба еще молоды;

перспективы самые радужные. "Здравствуй!" — ответил он мне металлическим голосом, но металл этот был вовсе не той далекой плавки пятилетней давности, когда я его впервые увидел у Боровицких ворот. Тогда голос покровительственно хлопал меня по плечу. Это был гибкий, мягкий металл, еще не прокаленный кремлевскими морозами и солнцепеками. Металл был не без либерализма преуспевающего или во всяком случае уверенного в своем будущем преуспеивании преторианца. Сейчас металл дышал злобой, ибо понял, что не только я, экскурсовод Московского Городского совета по туризму, но и он — работник внешней охраны Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР — обречен на Кремль, Красную площадь и Александровский сад. Может быть, на всю жизнь.

И как-то вдруг — не хотел я этого вовсе — мстительно повернулась моя мысль. Ведь как иногда согревает душу мыслишка, что не только ты идешь на всех парусах ко дну, но и твой ближний за тобой следует. Особенно, если ближний — работник Органов. "Одна участь всякому. И мудрому, и глупому. И благочестивому, и неблагочестивому. И клянущемуся всеу, и соблюдающему клятвы... А затем они отходят к мертвым". Воистину одна участь! И работнику Органов, и не работнику Органов — все одно. Все в говне, в говне по уши. Так прозвучал у меня под черепной коробкой Когелет.

"А вы все еще здесь? Пятый год уже, как и я. А я, грешным делом, думал, что больше вас не увижу. Думал, что вы где-то там наверху, в больших начальниках". — "А я и так большой начальник!" — огрызнулся он и быстро отошел от меня.

День, помнится, тогда был морозный. Гебисты около большого Кремлевского дворца сгрудились вместе. Это — стадный инстинкт, развитый, как я заметил, у работников внешней охраны, экскурсоводов, детей, солдат и эмигрантов. Мой знакомый, злобно пружиня шаг, не подошел к ним. Я вообще не замечал его беседующим с коллегами. Да и что они могли сказать ему, выпускники Высших школ? "Что ты все бегаешь такой смурной? Почему это морда у тебя все время постная? Чем недоволен? Вот гляди, зарплату повысили,

старшим лейтенантом тебя сделали. Машка на тебя, машинистка, ты ее знаешь, заглядывается. Конечно, с каждой кобеливаться нельзя. За это начальство по головке не погладит. Но с ней можно. Она своя. Так что брось хмурым ходить". Такую вот песню пели ему, наверное, коллеги.

Как я думаю, он ненавидел их всех: любителей Пуфендорфа, переквалифицировавшихся в специалистов по социалистической законности, специалистов по законности, превратившихся в партийных функционеров — всех, всех тех, кто не без успеха, карабкался по карьерной лестнице и подавал ему на улице с презрительной усмешкой два пальца. "Все работа-ешь!" И еще, я думаю, он тайно (даже от самого себя) ненавидел Органы. А интересно, какие мысли появились у него, когда он узнал от моих коллег, что я уехал в "государство Израиль"?

Осуждают некоторые из чекистов и ненужные, необоснованные репрессии.

...Я веду обычную экскурсию по Александровскому саду. Все идет как будто нормально, но при подходе к Боровицким воротам начинается ропот. Дело в том, что клиентам обещали, что они посетят Патриаршие палаты. Это полуобман. Организаторы экскурсий прекрасно понимают, что граждане, не искушенные в кремлевских тонкостях, примут обещание посетить Патриаршие палаты за обещание посетить Оружейную палату. Это дефицит, а посему привлекателен. В конечном итоге тайное станет явным, и все шишки посыпятся на меня, и я благоразумно предупреждаю группу, что ни в какую Оружейную палату мы не пойдем. В группе бунт. Крик и возмущение. "Нет порядка. Бардак. Если уж в Кремле обманывают, то, что тут говорить про другие места!" У меня каменное лицо: "Товарищи, все претензии направляйте к организатору на Красной площади". Он хочет заработать. Понятно. Но почему я, собственно, должен расхлебывать кашу, которую он заварил?

Ко мне подходит один из клиентов, тоже, надо сказать, работник Органов, но в группе моей он не по заданию, а по собственному желанию. Он на отдыхе. Повышает свой общий

культурный уровень. Даже агенты госбезопасности его иногда повышают по собственному желанию. Новые времена — новые нравы! Лет тридцать-сорок тому назад, я думаю, они иконописью или там древнерусской архитектурой не интересовались. "Порядка, слышите, говорят нет. Разболтались все. Везде халтура и вранье, даже в Кремле. При Сталине такого, говорят, не было. Нужен новый Сталин, чтобы порядок навести. А вы что по этому поводу думаете?"

Что это? Инстинкт охотничьей собаки, которая и на заслуженном отдыхе продолжает делать стойку, ибо не в состоянии быть без дела?

Между тем мы подошли к Боровицким воротам. Возле них стоит старушка. В руках у нее авоська, а милиционер, тоже агент в штатском, требует, чтобы авоська была сдана в камеру хранения. А старушка упирается. Купила она билет и решила зайти в Кремль с экскурсией. Может быть, туда вообще без экскурсии не пускают? А ведь многие так и думали и страшно возмущались, когда узнавали правду: почему не предупредили? Зачем заставили купить билет и всю эту фигню про Программу мира и личный вклад Леонида Ильича прослушать?

Экскурсия моей старушки уже прошла Боровицкие ворота и начинает подниматься вверх. Еще немного и скроется вовсе. Старушка в панике и жалостливым голосом просит пропустить ее. Нет у нее бомб, и, отродясь, она их не производила; и сумку она открывает, показывая, что, кроме дюжины мандаринов, приготовленных для внука, у нее ничего нет. Можно и мандарины пощупать, и опять-таки "товарищ милиционер" может убедиться в том, что это именно мандарины, а не лимонки. И "сыном" милиционера этак умильно называет. Он же, однако, неумолим; нет не каменное у него сердце, жалко ему старушку и действительно годится она ему в бабушки, и бомб, скорее всего, у нее нет (хотя, с другой стороны, кто их знает нынешних старушек, такое ведь тебе порасскажут на инструктажах, так припугнут, на такую высоту бдительность подымут, что не только в старушке, в грудном младенце террориста-бомбиста усмотришь), но закон есть

закон, и не поделаешь тут ничего. Старушка между тем всхлипывает. Мой чекист смотрит на всхлипывающую, беспомощную старушку, на переминающегося с ноги на ногу милиционера и поворачивает лицо ко мне. В глазах — ирония и презрение: "К старушке пристал".

Зачем пристал к старушке? Дело, конечно, не в его коллеге в милицейской форме. Он, понятно, человек подневольный, не его это идея утраивать бдительность и мучить старушек. Это те, кто наверху, придумали. Нужно отлавливать и расстреливать шпионов и диверсантов западных разведок, бить по головам этих диссидентов, подсидентов, чтобы не зазнавались, не думали, что они умнее других; жидов и прочих там чичмексов нужно поприжать, чтобы опять-таки помнили, кто здесь господин и чья это страна. Но зачем, зачем же мучить свой народ? Зачем над ним измываться, да еще над беззащитнейшей частью его?

А может быть, тут дело не в товарище Андропове? Может быть, он вовсе и не требует утраивать бдительность? Может быть, это другие требуют, его коллеги по Политбюро? Ведь с ними он должен считаться. Может быть, они-то за закручивание, а он-то за раскручивание этих самых гаек? Ведь на все нужно смотреть не предвзято, объективно. Вот не взяли меня, например, в аспирантуру, так — что в этом КГБ виновато? Вы думаете, что это КГБ мешает мне на казенный кошт изучать "Феноменологию духа"? Или вот другой пример: не печатают ваш толстый манускрипт: "Философия общего дела" и задачи современного иммортализма". Так что здесь опять происки Органов? Вот все нет, и даже Главлит тут ни причем: ему нужно лишь, чтобы не было никаких провокационных намеков, а на философские ваши измышления ему абсолютно наплевать. Не они вовсе, Органы и Главлит, виновники ваших неудач с рукописью, другие инстанции воспрепятствовали: они ведь и утверждают план издательства, его профиль и карают за философские и иные ереси. С них и спрос!

Да ведь и у товарища Андропова репутация либерала, покровителя "Таганок" и "Современников". Так, может, оттуда, с того здания на площади Дзержинского и повеет на

нас весенним ветерком? Кто знает, история, как нас учили, диалектична и повернуться может самой неожиданной стороной. Все может случиться. Может, и старушек при входе в Кремль за зря перестанут тормозить?

Пророчествую. Как сладко иногда бывает пророчествовать, тихо, безмятежно, без экзальтации и расширенных зрачков! Пророчествовать ведь можно и в сладкой истоме полдня, от избытка томности и блаженства, жмуриться котом и выгибать спинку. А вдруг будет эта самая либерализация. Маленькая, крохотная. Много ли им нужно, старушкам-то? И может, зря уехал.

Кто знает! Но боюсь, ой боюсь что-либо загадывать, ибо, сколько раз история улыбалась нам самой что ни на есть обольстительной улыбкой и обещала — именно обещала — а не намекала, ибо каждый, как известно, понимает намек в меру своей испорченности, бездну блаженства. А затем мы унавали, что она давно уже спит с другим.

Но не только фрондой не брезговали гебисты, а и открытой антисоветчиной. Морозный вечер. Я веду свою последнюю группу по Кремлю и подвожу ее к Большому Кремлевскому дворцу. Недалеко от меня несколько "искусствоведов в штатском" с повязками "распорядитель", приплясывая от холода, сгрудились вместе. До меня явственно доносится: "Сикоко? Сикоко?" Это очередной анекдот о Василии Ивановиче, о Чапаеве.

Анекдот появился во время очередного повышения цен на водку. Чапаева отправляют в Японию изучать японский язык. Он проводит там положенное время и возвращается домой. По приезде Чапаев предстает перед экзаменационной комиссией, должной проверить его познания в японском языке. "Василий Иванович, как будет по-японски "пушка"? — "Не знаю". — "А как по-японски "самолет"? — "Не знаю". — "Василий Иванович, да как это называется? Вы прожили в Японии пять лет на государственные деньги и ничему не научились?" — грозно вопрошает Чапаева высокая комиссия. Но Василий Иванович не смущен: "Я занимался, я учил. Верьте мне, товарищи, понимаете, память отшибло. Выпить мне на-

до, и я все вспомню". Посовещались члены комиссии и согласились: знали, что герою гражданской войны бутылка водки совершенно необходима для интенсивной интеллектуальной деятельности. Приходит Василий Иванович в гастроном и просит бутылку водки и, естественно, по старой памяти протягивает три рубля. А ему продавец и говорит, что трешки недостаточно, нужно еще рублик добавить. Шок для героя гражданской войны. Кровь ударила в голову Чапаеву, и выкрикнул он по-японски: "Сикоко? Сикоко?" Так благодаря заботам партии и правительства о повышении жизненного уровня трудящихся и вспомнил Чапаев забытый им японский язык.

Были анекдоты и похлеще. Весной раз прогуливаюсь я у Боровицких ворот в ожидании очередной группы. Рядом со мной коллега. Антисоветчица. Хочет уехать, предать Родину, но не может — нееврейка. Ругает советскую власть и хвалит Запад. Я ей робко так возражаю, говорю, что не все там хорошо. Некоторые разочаровываются. С работой, например, туго. Особенно, если ты гуманитарий, и без знания английского языка. "А мне плевать, — отвечает решительная коллега, — я лучше в Нью-Йорке официанткой буду работать, чем здесь экскурсии водить. Через год звони мне в Нью-Йорк".

Вдруг вижу появляется на горизонте вальяжная фигура с японским зонтиком. Фигура направляется в нашу сторону. Это очередной работник внешней охраны вышел на дежурство, следит за порядком в вверенном ему Александровском саду. Я дергаю мою собеседницу за рукав: дескать, замолкни немедленно. А она мне в ответ: "Да ты не бойся. Это свой". — "Прости меня, дорогая, но, как это понять "свой"? Ты мне это уточни". — "Свой, свой!" — весело улыбается она.

Может быть, для тебя свой, а для меня нет. Ты вот хочешь уезжать, а я предан своей социалистической Родине, из которой меня уже который год на аркане вытаскивают родители, а я предан ей и упираюсь. Свой. Шутник в юбке!

Агент между тем приближается. Подойдя вплотную, он

оглядывает нас радостным взглядом маленьких голубеньких глазок. Пухленькая мордочка расплылась в доброжелательнейшей улыбке. Он не только не конспирируется, но откровенно напрашивается на беседу. Моя диссидентка-эмигрантка провокационно улыбается. "Хотите анекдотец расскажу?" — спрашивает агент. Я, естественно, молчу, а ему вовсе и не требуется моего согласия.

"Вот, значит, едет гражданин в автобусе. Толкотня жуткая, давка, ну хочется ему газетку почитать. Хочется, а не может; а другой гражданин оказался счастливее его: плюхнулся на освободившееся место, вытащил газету и читает. Ни пассажира, ни его газетки не видно: заслоняют спины граждан. Только маленький кусочек высовывается. На кусочке же этом виднеется траурная рамка и жирным шрифтом выведено: "Умер..." Как увидел наш пассажир траурную рамку и слово это, сразу всполошился и толкает в бок владельца газеты: "Кто умер? Кто? Не трави душу, говори скорей!" Тот поворачивается к нему и показывает весь газетный разворот. "Помпиду..." И в голосе такое, знаете, разочарование. Вот такой анекдот!

Хорошенький анекдот. Значит, печалится гражданин, что умер Помпиду, а не Леонид Ильич. За такой вот анекдотик не только с работы вылетишь, но и десять лет за антисоветскую агитацию схлопочешь. Общественность это понимает и изложила свое виденье сощдействительности в следующей прибаутке: "Это что за бармалей тут залез на Мавзолей. Он бровями шевелит и невнятно говорит. Кто даст правильный ответ, тот получит десять лет".

Вот так. Десять лет. С этим не шутят. Я накидываюсь на мою коллегу-антисоветчицу: "Мать твою, растудыть, что ты делаешь? С кем знакомство заводишь? Вот настучит на тебя! А настучать у него всегда есть что, и уж не знаю, как насчет десятки, но вот с работы вылетишь как пить дать". А она: "А ты что всего боишься? Он не такой, они вообще не такие, они нас охраняют..."

Я поворачиваю голову. О ужас! Светопреставление. Я думал, он уже давно ушел, а он оказывается тут рядом, и все слышал. Смотрю ему в глаза и ожидаю увидеть в них сталь когтей, готовых впиться в мое тело, задолго до вынесения смертного приговора: доноса, изгнания из Кремля (этого рая для меня, халтурщика!) и, может быть, даже более серьезных неприятностей. Но я ошибаюсь. Вместо сурового взора председателя ревтрибунала вижу веселенькие, добродушные искорки в маленьких голубеньких глазках. И лицо по-прежнему расплывается в благожелательнейшей улыбке, обращенной и к моей напарнице, и ко мне, без какой-либо дискриминации. "Да, мы действительно вас охраняем"... Промолвив это, агент, заговорщически подмигнув, продолжает свое неспешное шествие по Александровскому саду.

А вот история и того хлеще. Адский холод. То извиваются в пляске, то клонятся долу языки пламени, блеклые отблески играют на полированном граните. Могила неизвестного солдата. Чернильно-синяя ночь опускается на Кремль. Скоро его закроют, но мне выписана путевка и надо ждать: кто их знает, этих экскурсантов, могут и прийти. Бывает ведь так: притащатся под вечер, под самый занавес, одуванчики-пенсионеры из какого-нибудь ЖЭКа и, не найдя экскурсовода, поднимают шум: кругом жулики, халтурщики, в свое время таких вот сразу сажали, а сейчас распустились, но они этого так не оставят. И пойдут качать свои права, и будет скандал. А зачем мне скандал? И я смиренно жду, притопывая ножками. А то примусь ходить от Боровицких ворот до Могилы и обратно: чтобы уж совсем от холода не околеть. Собачья жизнь, но все же лучше здесь бегать, чем корпеть за восемьдесят рублей в конторе. Рядом со мной товарищи по несчастью, а вернее, по службе: милиционер и "искусствовед в штатском". Мы сгрудились, вместе оно кажется теплее.

"Слыхал, — задумчиво сказал милиционер, глядя на извивающиеся языки пламени, — в Моссовете опять казнокрадов накрыли. Крадут ведь, крадут безбожно, мать их растудыть".

"А народ, он ведь терпит до поры до времени, — ответил "искусствовед", ударяя ботинком о ботинок. — Но терпению всякому приходит конец; и вот, думаю, когда-нибудь выволокут их на улицу и повесят. А при этом, — он презрительно посмотрел на милиционера, — будешь ты их, подлюг, защищать".

О! Как они друг друга ненавидят: "искусствоведы" и милиционеры. Какая-то у них внутривидовая вражда. Рассказывали, бывает так: выпьет лишних двести грамм бедный промерзший за дежурство "искусствовед", а его милицейский брат тут как тут. Хвать несчастного: пьян, дескать, плут — пошли в отделение. А тот ни в какую! Тут, естественно, применение физической силы, ну, и достается, конечно, "искусствоведу". А показать бордовую книжицу нельзя — конспирация, покажешь — наживешь неприятности. Так вот, облил мой чекист милиционера презрением, а тот ему в ответ: "Не буду я это жулье защищать. Пусть торжествует суд народный".

Или вот другой эпизод. Случилось это во времена взрывов: кто-то подложил в метро самодельную бомбу и в результате погибло несколько человек. Чекисты всполошились и удесятирили бдительность. Даже я, обсмотренный и проверенный тысячи раз, был ошупан при входе.

"Товарищи, — сказал я с укоризной стражу, — ведь меня вы как будто знаете. Не буду, ведь я подкладывать бомбы под здание Совета Министров". Я хотел еще сказать, что как марксист-ленинец я всегда был против индивидуального террора и даже процитировать "Детскую болезнь левизны в коммунизме": "Индивидуальный террор мы отрицаем по причине его нецелесообразности".

Уже после экскурсии ко мне подошел молодой чекист поговорить по душам. Они ж тоже люди, ведь и им иногда хочется душу излить. (Психоаналитиков в СССР еще, видимо, для гебистов не нанимают.)

А кому же им, "искусствоведам", исповедоваться? Не высшему же начальству. Так что периодически они для этой цели и выбирали нас, экскурсоводов. Мы-то — почти свои люди.

Один в жилетку поплачется, что зарплаты не хватает, другой, что жена его кончила институт, а куда устраивать, неизвестно — не послать ли ее к нам, в Бюро; третий, потупив от собственного невежества глазки, спросит: "А кто такой Боттичелли?" Оказывается, встретил девушку и стала та ему про Ренессанс толковать, а он ни в зуб ногой.

Так что, увидев знакомого мне чекиста, я не усмотрел ничего опасного и неожиданного. "Башка идет кругом от этих взрывов. Совсем затормозили нас", — сказал он и выматюгался. "А вы что тут ротозейничаете? Зря хлеб народный едите! Почему не обезвредили вовремя? Почему не поймали?" — наскочил я на него. "Да разве за всеми идиотами уследишь", — отпарировал он.

И был в общем прав. Идиоты прибывали в Кремль в огромных количествах, и некоторые были по-настоящему опасны. Один шахтер из Кузбасса взорвал себя и еще нескольких экскурсантов, мирно стоявших в очереди в Мавзолей. Другой, некий почитатель Ильича, за неимением колесницы Джагернаута с криком "Умру за Ленина!" бросился в толпу паломников. Лишь оперативность "искусствоведов" спасла изнывающих в очереди провинциалов и самого камикадзе от перехода в лучший мир.

"А вы штаты увеличивайте", — продолжал я наступать на моего "искусствоведа". "Увеличивать? А затем всех на пенсию?" — огрызнулся он. "Все это от Запада идет, — продолжал он, — там бомбы взрывают и у нас начали. А вообще-то они мерзавцы". — "Кто же это?" — осведомился я. "Как это кто? Бомбисты! Взрывать бомбы среди детей. Я еще понимаю, покушаться на правительство... Но в детей... Мерзавцы! Попадись мне хоть один в руки, я бы тут же расстрелял. Пусть бы меня судили".

Вот оно что, по правительству, оказывается, можно. Это морально. На то оно и правительство, чтобы по нему бомбы метать!

А вот другой эпизод, мне рассказанный. Сидит одна гебистка-машинисточка в своем учреждении, стучит на машинке, а ее соседка, готовящаяся стать секретарем местной

партячейки, перебирает важные бумажки. Окно открыто, веет нежный, весенний зефир; и вдруг говорит будущий парторг, как бы размышляя вслух, следующее: "А ведь может так случиться: подует ветерок посильнее и вылетят эти бумажки за окошко и некий гражданин подберет их, а затем, когда в нашем обществе все радикально переменится, обнаружит. Что нам за такое разгильдяйство будет?"

Я живо представляю себе читателя этих строк, сидящего на чемоданах и ждущего, как не сегодня-завтра злодеи-большевики будут свергнуты и утвердятся "социализм с человеческим лицом", западная демократия или монархия — все здесь зависит от политических вкусов. И вот, прочитав это, он, наверное, скажет себе: "Нет, не зря жду. Если сами гебешники недовольны, анекдоты антисоветские порют, покушения на власть имущих не осуждают и в прочность системы не веруют, то нужно в ближайшем будущем ожидать глобальных перемен". Кризис назрел. И уж, конечно, это именно он должен взять власть в свои руки и осчастливить Россию и все человечество — а кто же еще? Это так всегда у русских бывает: начинают с личного счастья, на нем воздвигают счастье России, а уж из последнего выводится блаженство всего человечества.

Должен я такого читателя разочаровать: вербальное диссидентство отнюдь не мешает работникам Органов работать, и хорошо работать.

Вот здоровенный "искусствовед" держит за ушко мальчика: малец ревет и просит пощады. В чем провинился? Выпрашивал жевательную резинку у иностранцев. А вот с этим юношей уж и вовсе круто обходятся: намотав его длинные патлы на руку, "искусствовед" волочит преступника по улице. Злодей занимался фарцовкой.

"За что?" — благим матом кричит на всю Ивановскую этот гражданин. Два "искусствоведа" деловито заталкивают его в служебный автомобиль. Я же, делая вид, что ничего не замечаю, продолжаю вещать: "Вот перед вами, товарищи, памятник Ильичу. Глядя на него, сразу вспоминаешь слова поэта: "Самый человечный человек". Затем торопливо пере-

хожу к другому объекту, дабы не провоцировать граждан на нежелательные вопросы. Но находится-таки отважный клиент и спрашивает меня с каким-то заискивающим любопытством: "А что там было — у здания Президиума Верховного Совета СССР? За что его? А?"

Мне не велено отвечать на такие вопросы. Нельзя говорить, что в здании Совета министров действительно происходят заседания Совета министров, а не общества любителей подледного лова. Нельзя сообщать, что в здании Президиума Верховного Совета СССР (а о том, что это именно Президиум Верховного Совета СССР свидетельствует развевающееся красное полотнище, хорошо просматриваемое агентами иностранных разведок со стороны Красной площади) действительно собирается Президиум Верховного Совета СССР, а не математики-отказники. Нельзя говорить, что черные "Чайки", проносящиеся со страшной скоростью по Кремлю, перевозят членов партии и правительства, а не знатных колхозников. Это вопрос безопасности вождей. Это главная работа "искусствоведов" и, пропустив мимо ушей сомнительный анекдот, рассказанный ненароком экскурсоводом, они не поленятся позвонить в наше Бюро и сообщить, что один из наших внештатников обещал "убить Ле Зуана", посетившего нашу страну и Московский Кремль с очередным дружеским визитом.

Между тем клиент не унимается. "Не знаю!" — стараюсь я отрезать напрочь. "Нет, знаете!" Да что это такое? Я еще понимаю пьяненький рязанский житель может сболтнуть у памятника Ильичу: "Если тот Ильич на субботнике бревна таскал, то этому и впрямь не вредно будет их потаскать". Или там у царь-пушки: "Пушка-то на Президиум Верховного Совета направлена. Неуютно им должно быть там". Пьян. Что с него возьмешь? Да и жена его тотчас дернет за полу пиджачка: "Перестань, Вася. Посадят". Она-то — трезвая и понимает, что тут не кабак, а Кремль — столица нашей социалистической Родины и в ней рекомендуется помалкивать.

А этот прет и прет на меня. Что он, мать его растудить, хочет, чтобы у меня были неприятности? Чтобы я работу



потерял? А где я, еврей с высшим гуманитарным образованием, найду еще такую халтуру? Чтобы работать три часа в день? Чтобы девочек во время работы кадрить? Чтобы рублей сто сорок "грязными" зашибать? Чтобы Ленинка была под боком? Нет! Не на того он напал со своими провокационными вопросами: Мы не рабы, рабы не мы. Мы — честные советские граждане еврейской национальности, нас голыми руками не возьмешь.

В глазах моих появляется холодный блеск. "Гражданин, — говорю я с участливой вежливостью (а именно так и обращаются к гражданам "искусствоведы в штатском"), — я вижу, вы очень интересуетесь вопросами, на которые я в силу своей некомпетентности не могу ответить. Однако в моей власти познакомить вас с соответствующими сотрудниками Кремля — и я показываю перстом на агентов с повязками "распорядитель", — которые, я полагаю, смогут удовлетворить ваше любопытство".

Гражданин сразу сникает, затравленно озирается по сторонам: вокруг него медленно дефилируют дюжие ребята- "сотрудники". Он попался, он в западне. Вот сейчас вытащу я из своих замызганных джинсов маленькую бордовую книжицу с гербом Союза Советских Социалистических Республик и так ласково, по-отечески обхватив его руками, скажу: "Пройдемте, гражданин". И появится еще несколько парней, и машина подъедет, и... кто знает, что будет затем.

Глаза его начинают испуганно бегать: он переводит их то на одного, то на другого члена нашей группы. Они ищут даже не помощи, ибо какая же может быть помощь, если мышонок попался в лапы Органам, ему достаточно лишь сочувствия. Но сочувствие — это соучастие, и граждане, благонамеренно отведя от него глаза, с каким-то повышенным вниманием разглядывают бронзовое лицо Ильича.

"Товарищи, прошу не отставать!" — делаю я властный жест рукой и двигаюсь к очередному объекту — царю-кололу. Приблизившись к нему, обнаруживаю, что вместе с настырным экскурсантом из моей группы сбежало еще несколько человек. От греха подальше. И это хорошо: не нужно будет драть глотку.

Нет, не будет в России революции. И не назрел кризис, и не возьмут власть в свои руки диссиденты. И не ослабли стальные мышцы наших славных Органов. Просто власть чувствует себя прочнее, чем лет сорок тому назад, а посему и позволяет своим служителям вольтерьяничать.

Небо между тем заволочло тучами. Очень хорошо, хотя, конечно, лучше бы град: неделю тому назад он разогнал всю мою группу за десять минут. Но и дождик, особенно проливной, тоже неплохо. Группа моя постепенно рассредоточилась, и наконец я остался один на один с дюжим молодцом, одетым в отличный отутюженный костюм, новый костюм, с иголки. В руке молодца — как символ власти, как маршалский жезл, дефицитный японский зонтик, мгновенно раскрываемый.

В ясных, по-детски наивных глазах — готовность слушать и постигать мудрость о Соборной площади. Открытое честное лицо, роскошные русые волосы. Чистокровный ариец. К врагам рейха беспощаден. Лицо — сошедшее с обложки журнала "Советский Союз".

Я давно заметил его, ибо всегда перед началом экскурсии просматриваю группу: не затесался ли среди вверенных мне трудящихся чужеродный элемент, могущий быть нашим главным врагом — председателем Городского Совета по туризму. Вот тогда-то я и заметил среди трудящихся, навьюченных апельсинами и прочей снедью (гости столицы, отоварившись, решили совершить блицпробег по Кремлю, прежде чем направить свои стопы в голодную провинцию), этого Геракла из КГБ. Он выделялся среди остальных трудящихся не только своей холеной тренированной мощью, но и безукоризненностью своего туалета: грязным и вытертым пиджакам и брюкам, линялым пальто и старушечьим кацавейкам был противопоставлен, как я уже отметил, отутюженный костюм и блестящие, как медный таз, штiblеты.

Органы строги и догматичны. Они никогда не пошлют своих работников на службу в рваных джинсах и вылинявшей майке, не позволят им и отрастить патлы. Настоящий

"искусствовед" всегда причесан, вылизан с ног до головы и прекрасно одет. И, может быть, это и выдает его. И хотя в начале экскурсии он представился как знатный тракторист рязанского колхоза "Путь Ильича", я тотчас понял, с кем имею дело.

Зачем их запускают инкогнито к нам в группы? Не знаю. Могу лишь предположить, что хотя Отдел, курирующий Кремль, и равнодушен к содержанию наших экскурсий, он не может пустить дело на самотек и проверяет нас с идеологической стороны. А может быть, здесь работают два ведомства: одно курирует бомбистов, другое идеологию. Не исключено и другое: внедряя в толпу экскурсантов своих работников, Органы проводят "социологическое обследование", изучают общественное мнение. Как свидетельствуют историки, Гарун аль-Рашид самолично прогуливался по базару в одежде простого горожанина, дабы узнать о настроенных подданных.

Дождик между тем продолжает накрапывать. Мой ариец героически мокнет, и я вместе с ним. Наконец, не выдержав, говорю: "Нет. Не щадит вас начальство". — "Я вас не понимаю", — отвечает мне ариец. Я делаю вид, что не расслышал его ответа. "Нет, положительно в такую погоду хороший хозяин собаку на двор не выгонит. Я понимаю — мы работаем. Но что такое мы? Наше Бюро? Пшик. Вы же — другое дело. Вас нужно беречь. Вас нельзя заставлять мокнуть и доводить до воспаления легких".

Что я делаю? Переступаю запретную черту. Нарушаю табу. Ведь нельзя показывать, что я его разоблачил и понял, кто он такой. Ох, наживу я себе неприятности! Но лень, лень матушка сильнее меня, даже иногда сильнее инстинкта самосохранения. И не должен же я мокнуть под дождем ради одного паршивого клиента. Да и ему это не нужно, и ведомству его тоже. Это никому не нужно. Ведь должны же они логически мыслить и понимать, что я буду исправно выполнять "социальный заказ". Конечно, халтурно, за минимальное количество времени, но их это, видимо, мало волнует. Если я не собираюсь никуда уезжать, то, по определению, должен держать

язык за зубами. Ежели собираюсь, то опять же, зачем дразнить гусей до пересечения советской границы. В любом случае моя лояльность гарантирована.

Но мой ариец стоит таким истуканом и, судя по всему, не собирается уходить. Я же, растравленный предвкушением конца экскурсии и всех моих мучений, дохожу до ручки и вконец теряю голову. "Гражданин, — говорю я открытым текстом, — я не могу только с вами одним проводить экскурсию. Если уж вы так жаждете все это прослушать — между прочим, тут на каждом храме и на каждой пушке есть мемориальная доска — я присоединю вас к другой группе. В любом случае мы должны переждать дождь. Я могу промокнуть, я уже промок. Да, я не шучу, у меня будет воспаление легких. Я не знаю, как там у вас, — при этом на "вас" я делаю ударение, — но вот у нас бюллетень оплачивается полностью только после пяти лет работы. У меня нет пятилетнего стажа. Кроме того, сейчас лето, сезон. Если я и получаю в среднем сто сорок рублей в месяц, то только потому, что летом удастся зашибить все двести. Я не могу, не имею право болеть летом. Приходите слушать меня зимой. Зимой я с удовольствием схвачу воспаление легких".

Как я сейчас ненавижу Органы! Пусть они запрещают мне читать всякие нехорошие книжки. Пусть меня не печатают, никуда не принимают. Пусть обзовут жидом и вдарят по морде — желательно, конечно, не слишком сильно. Я все пойму, все прощу, я — простой честный советский раб еврейской национальности. Я пойму, что без плевков, "жидов", пинков и унижения не создаются великие империи. Не чеканят по брусчаткам площадей шаг русокудрые бестии. Не скрежещут гусеницами, щерясь стволами танки и самоходки. Не целятся в небо термоядерными фаллосами баллистические ракеты, "способные поразить врага в любой части земного шара. Мы их всех вы...м". Разве это не прекрасное чувство? Даже если тебя самого е..т. Я все, как и большинство простых, честных советских людей, разрешаю Органам, кроме одного: они не должны мешать мне халтурить. Вот тут-то и начинается у меня с ними, со всей советской властью раз-

лад. Тут наливается диссидентской желчью мое сердце, куется в голове крамола, а рука тянется не голосовать за нерушимый блок коммунистов и беспартийных, а к заявлению на выезд.

Глазами, полными ненависти, я смотрю на честный, открытый лик моего Геракла, и он, не выдержав моего испепеляющего взгляда, капитулирует. "Действительно, — говорит он, улыбаясь, — зачем нам мокнуть под дождем. Я, пожалуй, пойду". Он медленно, в развалочку, удаляется от меня по Соборной площади.

Я счастлив, я улыбаюсь, подставляю лицо под струи дождя, а затем стремительно несусь через Троицкие ворота вниз, в Александровский сад, где у маленького киоска отовариваюсь аппетитной булочкой, облитой шоколадом, и семикопеечным кофе в бумажном стаканчике. Я прихлебываю обжигающий кофе, плотоядно заглатываю булочку и вполне примирен с Органами и нашей замечательной советской действительностью.

Да, чуть не забыл, дорогой читатель, ведь вас все-таки интересует, кого это схватили молодцы у памятника Ильичу, у здания Верховного Совета СССР? Думаете, наверное, особо опасный преступник, злоумышленник, готовящийся взорвать наше родное правительство? Совсем нет. Схвачен был и посажен в служебный автомобиль — он на площади всегда стоит в боевой готовности — "ходок". Да, да, тот самый "ходок", которого вы, может быть, помните по известной картине "Ходоки у Ленина".

Я видел этих искателей правды во множестве. Большинство чинно и немятежно подавали прошения в Приемную Верховного Совета, но у некоторых было свое патриархальное представление о власти, и пути к ней они тоже искали свои, домашние. Вот старушка в телогрейке и с котомкой хочет записаться на прием к Леониду Ильичу, а то и просто заглянуть к нему в гости. Ведь шли же простые люди к тому Ильичу, Ильичу Первому. А почему ей нельзя? У нее такое важное дело, столько безобразий творится у них в селе и нет управы ни на председателя сельсовета, ни на секретаря райкома. Об-

ходила весь район, всю область и... ничего. Собрала последние гроши (я сам встречал на Севере восьмидесятилетних старух — матерей пяти-шести не вернувшихся с фронта сыновей и получавших пенсию по 8-10 рублей) и отправилась в Москву. И вот стоит у Боровицких ворот и обстоятельно расспрашивает стража, кто тут записывает на прием к Леониду Ильичу.

Другая, видимо, прибывшая из какой-то среднеазиатской республики, просидела у ворот почти час. Тупо уставившись в землю, она что-то бормотала на своем языке и медленно покачивала головой. Страж не знал, что с ней делать, ибо ни слова не понимала она по-русски. Так и сидела она до тех пор, пока не увел ее соплеменник, случайно оказавшийся среди прохожих.

Тот, кого схватили у памятника Ленину, был явно отчаяннейший из ходоков: не найдя легальных путей к Леониду Ильичу, он решил пойти ва-банк и, несмотря на все расставленные Органами заставы, прорваться и вручить самолично прошение. Возможно, он полагал, что если окажется пред очами Ильича Второго, то раскроет ему глаза на правду, а Ильич посетует, что не может он знать этой всей правды, ибо окружили его партийные бояре, отгородили от народа, а сами творят суд неправый.

Между тем кофе выпито и булочка съедена. Я запускаю руку в карман и вытаскиваю очередную путевку. "По зеленому другу" — это название экскурсии, а рядом организация, ее заказавшая, — КГБ. До начала экскурсии оставалось чуть более часа. Путь же, до места, где мне предстояло встретить группу, неблизок. Вообще-то за пять лет я приходил на работу вовремя считанные разы. Но тут опаздывать, откровенно говоря, не хотелось.

Я ехал на экскурсию с некоторым страхом. Дело в том, что в ботанике — а характер экскурсии предполагал основательные знания в этой области — я был абсолютным невеждой. И решил я водить экскурсии по Ботаническому саду Академии Наук СССР опять-таки только из-за своей страстной любви к халтуре. Дело в том, что на ботанические экскурсии клиенты приходили особенно редко.

Иногда эти путевки покупались как "нагрузка" к чему-то более привлекательному. Иногда (особенно если экскурсия была автобусной) заказчикам был нужен только автобус, на котором жители пригородов направлялись в Москву за продуктами. Часто нужно было просто потратить профсоюзные деньги: не истратишь — в следующем году урежут. Наконец, не исключен был и элемент благотворительности. Профсоюзные боссы понимали, что нашему Бюро нужен план, а распределителям путевок, получавшим процент с каждой из них, надо дать заработать. А потому чиновники, заведовавшие профсоюзной казной, щедро отпускали деньги на мертвые души. Так вот, экскурсия по Ботаническому саду и была этой "мертвой душой".

Но иногда все-таки клиенты приходили, и надо было им что-то рассказывать. Я выкручивался как мог. "Товарищи, — говорил я, демонстрируя розарий, — этот объект был известен человечеству с глубочайшей древности. Вспомните хотя бы "Сатирикон" римского писателя Петрония. Там во время пира гости мыли руки в розовой воде. Или возьмем, к примеру, императора Нерона, он тоже жил в Древнем Риме, так вот этот самый Нерон во время оргий любил обсыпать себя розовыми лепестками. А теперь, товарищи, — я старался сразу оглушить моих клиентов потоком информации, не дать им опомниться — это должно было спасти меня от вопросов, на которые я заведомо не мог ответить, — обратите внимание на это растение. Это дуб. Видите, он толстый и корявый. Но покрыт листочками. Клейкими листочками. Это очень важно, товарищи, что листочки именно клейкие. Нет, товарищи, сейчас они не клейкие. Они были клейкие весной, это вы легко себе можете представить. Совсем немного воображения. И вспомните Достоевского, его роман "Братья Карамазовы" — там Дмитрий говорил про "клейкие листочки" и о том, что нужно "возлюбить жизнь больше, чем ее смысл".

При этом я очень кокетливо подмигивал какой-нибудь симпатичной экскурсантке: давай, дескать, любить жизнь вместе, смысла в ней действительно нет!

"...И еще, товарищи, о том же дубе вы можете найти у Льва

Николаевича Толстого, в его "Войне и мире". Помните? Тридцать лет, а он, Андрей Болконский, совершенно никому не известный князь. Он, правда, смотрел на "бесконечное небо Аустерлиц", и Наполеон, его кумир, казался ему тогда маленьким и ничтожным. Но все-таки вы должны это, товарищи, понять, ему, Андрею Болконскому, было грустно. Грустно, потому что он не был Наполеоном. И вот в этом грустном состоянии князь едет по дороге и видит дуб. Дуб этот, надо сказать, он видел и раньше, но тогда он был мрачным и корявым, а вот сейчас был он в зеленом таком веселом наряде и "чувство весеннего обновления охватило Андрея Болконского".

Чаще всего граждане не могли уяснить связи между дубом, Андреем Болконским, Наполеоном и тем, что им обещали представители нашего Бюро. Между тем, стремительно продвигаясь к очередному объекту, я спонтанно, в соответствии с учением дцэн-буддизма, об исключительной полезности которого говорил мне неоднократно мой приятель — страшный бездельник, пристраивался к той самой симпатичной экскурсантке, с которой я так продуктивно до этого перемигивался. "А как вас, между прочим, зовут? И где трудится ваш супруг?" — "Зовут меня Наташа, а мужа у меня нет". — "А вы знаете, Наташа, что писал обо всем этом Александр Сергеевич Пушкин?" — "А что же?" Наташа при этом отводила голову в сторону и, смотря на меня искоса с этакой скептической кокетливостью, ожидала из моих уст услышать какую-нибудь пикантную двусмысленность. "Наташа, — говорил я не без пафоса, глядя куда-то вдаль, — великий русский поэт писал следующее". И тут я читал все стихотворение наизусть.

**Не дорого ценю я громкие права,  
От коих не одна кружится голова.  
Я не ропщу о том, что отказали боги  
Мне в сладкой участи оспаривать налоги  
Или мешать царям друг с другом воевать;  
И мало горя мне, свободно ли печать  
Морочит олухов, иль чуткая цензура  
В журнальных замыслах стесняет балагура.  
Все это, видите ль, слова, слова, слова.**

**Иные, лучшие, мне дороги права;  
Иная, лучшая, потребна мне свобода:  
Зависеть от царя, зависеть от народа —  
Не все ли нам равно? Бог с ними.**

**Никому**

**Отчета не давать, себе лишь самому  
Служить и угождать; для власти, для ливреи  
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;  
По прихоти своей скитаться здесь и там,  
Дивясь божественным природы красотам,  
И пред созданными искусств и вдохновенья  
Трепеща радостно в восторгах умиленья.**

**Вот счастье! вот права...**

Так вот я водил экскурсии "естественно-научного характера", и чаще всего мне все сходило с рук. Но иногда случилось то, чего я всегда боялся: граждане, смиренно выслушав мой обстоятельный рассказ о Нероне, Наполеоне и Андрее Болконском, говорили, что все это, конечно, очень любопытно, но вот их непосредственно интересует ботаника и на ней желательна и остановиться. Тут я и оказывался на волоске от скандала, могущего окончиться для меня летально.

Так вот, тревожная мысль сверлила мой мозг на всем протяжении путешествия от Кремля до Ботанического сада Академии Наук: а вдруг придут гебисты или там гебисточки, интересующиеся исключительно естественно-научным аспектом проблемы? И вот, поняв, что никакой естественно-научности им не светит, они напишут на меня жалобу. Жалоба будет написана в стиле КГБ, то есть все будет очень вежливо, очень спокойно изложено, даже могут отметить мои положительные качества, эрудицию, например, но тем не менее укажут, что вверенного мне дела я не знаю, а кроме того, я явно закоренелый халтурщик. Катастрофа! Меня тут же выгонят! А где, простите, я тогда устроюсь?

Вот наконец и ворота Ботанического сада. Я первым делом осведомляюсь у служителя не появлялась ли тут перед входом какая-нибудь группа. Меня успокоили, и я, дожидаясь клиентов, заваливаюсь на огромный, обтянутый потрескавшимся кожаным диваном. Я жду положенные сорок

пять минут и затем с чистым сердцем и спокойной совестью еду домой.

Через несколько дней я должен был сдавать свои путевки, дабы бухгалтерия могла начислить мне зарплату: мы получили сдельно. И тут встала передо мной следующая проблема. Так сказать, гамлетовский вопрос: быть или не быть. Подписывать мне эту путевку "По зеленому другу" или нет.

Кратко введу читателя в суть. Мы зарабатывали в зависимости от числа проведенных экскурсий. В случае, если группа не приходила и экскурсовод тратил сорок пять минут своего времени, он получал пятьдесят процентов обычной платы. Но тут возникали проблемы не только для экскурсоводов (понятно, что они теряли изрядную часть своего заработка), но и для Бюро. Ему спускался план не только по доходам, но и по клиентам, которых нужно было просветить. Непроведенная экскурсия означала брешь в производственном плане, со всеми вытекающими отсюда последствиями для административного персонала, поэтому начальство смотрело на подлог, то есть на подписание путевок за несостоявшиеся экскурсии сквозь пальцы. Но если клиент все-таки звонил в Бюро и требовал деньги обратно, то, хотя клиенту деньги и не возвращали, экскурсовода наказывали: воруи, но не попадайся! В силу этого и решил я предварительно, для страховки, позвонить по имеющемуся на путевке телефону. "КГБ?" — спросил я с подобострастной робостью. "Да, это КГБ", — ответил мне весело и даже, как мне показалось, игриво женский голос. "Простите меня за беспокойство, — сказал я наипочтительнейшим тембром, — мы должны были с вами провести экскурсию по Ботаническому саду Академии Наук СССР, а никто не пришел. Я прождал три часа". — "Почему так долго?" — участливо спросил голос. "Как почему... Организация..." В трубке хихикнули. "Что делать с путевкой?" — спросил я уже без всякого почтения к грозному имени организации, а с той наглостью, с которой говорят слуги с господами. Для них ведь нет великих людей. "А что угодно", — ответила мне трубка. "Можно ли подписать, что экскурсия состоялась?" — спросил я голосом, дрожащим от предвку-

шения наслаждения — получения трех рублей восьмидесяти копеек . "Подписывайте". — "Спасибо!" Спасибо! Спасибо любимым Органам! Спасибо за заботу о человеке, простом и честном советском рабе. Где, в какой стране Запада я получу три рубля восемьдесят копеек — ни за что, и при этом не буду считать себя униженным до подачки, попрошайничества, но видящего в этих трех рублях восьмидесяти копейках законный кусок общественного пирога? Великое достижение социализма. О великие, о снисходительнейшие Органы! Я никогда не слышал, чтобы экскурсии, проводимые для этой высокой организации, вызывали какие-нибудь неприятности для нашего Бюро или экскурсоводов. Никогда они не жаловались, что мы проводим экскурсии со скоростью света (а мы всегда халтурим, даже с Органами), что мы опаздываем и заставляем клиентов ждать (а мы всегда их заставляем ждать), что, наконец, подписываем путевки на экскурсии, которые никогда не проводились.

Тиранозавр рекс, чудовище величиной с телеграфный столб и метровой пастью, практически никогда не унижается до преследования тварей, копошащихся где-то внизу, разве что случайно они попадутся под его массивную когтистую лапу. Его дело заглатывать страны.

"Человек — это мыслящий тростник, чтобы его уничтожить, природе не нужно урагана или потопа. Вполне достаточно дуновения ветра или капли воды". Я думаю, Паскаль имел в виду и обратное действие своей формулы: для того, чтобы сделать человека счастливым, хотя бы на время, ему вовсе не обязательно преподнести физическое бессмертие, мировое господство, славу, счастье творческого труда или там любовь красивейших женщин. Ему вполне достаточно трех рублей восьмидесяти копеек — капли воды или иной какой жидкости, могущей скатиться с крайней плоти властителя.

## АРМИЯ

Я водил группы военных по Кремлю. Но в отличие от прочих экскурсоводов я был известен своим знанием военной среды. Я был офицером запаса, и не простым, а спецпропагандистом, тем, кто должен был подрывать морально-политический дух войск противника. За моей спиной был долгий срок спецподготовки на военной кафедре МГУ. И я обучался, как писать листовки, вещать в рупор и вести допросы военнопленных. После нескольких лет обучения я был отправлен в военный лагерь, где, проведя около месяца, превратился в офицера запаса. Однако на этом мое общение с нашими доблестными вооруженными силами не кончилось: я вновь встретился с их представителями, вступив на поприще народного просвещения, став штатным кремлеводом.

Принимал меня на работу тогдашний директор нашего Всесоюзного Бюро товарищ Замиралов. Товарищу Замиралову перед этим п о з в о н и л и . Без этого не видел бы я Красной площади как своих ушей и не было бы у меня материала для создания этих записок кремлевода.

— Что вы будете рассказывать экскурсантам на Красной площади, после того как перечислите все проходившие на ней парады? — спросил товарищ Замиралов. — Ведь сейчас эпоха детанта.

Зная, что в прошлом он отставной полковник, я отрапортовал:

— Я им укажу и расскажу, что детант детантом, и мы всегда, конечно, за мир, но бдительность притуплять не будем. И еще я им скажу, что танки наши — лучшие в мире. И знаете почему?

От неожиданности моего вопроса товарищ Замиралов немало привстал и то ли от возбуждения, то ли от предвкушения какого-то наслаждения (в том, что оно его ожидает товарищ Замиралов не сомневался ни на миг) очень выразительно шмыгнув носом, а затем оглушительно-сладоострастно высморкался.

— А лучшие в мире они потому, что в отличие от американ-

ских танков лобовая броня наших танков поката. А что из этого следует?

Товарищ Замиралов, опять выразительно шмыгнув, повел по-бульдोजьи носом (он ожидал нечто очень приятное от покатоности лобовой брони наших танков).

— Покатость лобовой брони, — тут я назидательно вскинул палец вверх, — приведет к тому, что снаряд, выпущенный из вражеской противотанковой пушки, лишь слегка скользнет по ней. Скользнет и отскочит в сторону. А наш автомат, я имею в виду автомат системы Калашникова, необычайно прост и удобен в обращении. Это признают даже зарубежные военные специалисты.

Товарищ Замиралов удовлетворенно вытер рукавом выступивший на лбу пот.

— Хорошо, очень хорошо! А что вы скажете гражданам, если они вас спросят о повышении цен на коньяк? Что вы ответите?

Я положительно не знал, как отвечать на вопросы любопытных граждан. Моя атака захлебывалась, но товарищ Замиралов поддержал меня сам:

— А вы скажете им вот что: надо пить коньяк ма-лень-ки-ми рюмочками, а не бутылками. Ну ладно, мы вас принимаем.

Я водил по Кремлю представителей всех социальных групп, разве что не было среди моей клиентуры членов Центрального Комитета. Но больше всего я любил водить военных. На это у меня были свои основания.

На военных можно было хорошо заработать. Введу читателя в тонкости дела. Мы получали от клиента деньги и выдавали ему взамен билетки, кои клиентом должны были сохраняться до конца экскурсии. Сии билетки не столько препятствовали проникновению в нашу группу "зайцев", то есть тех, кто ничего не платил, сколько нужны были для проверки нас, экскурсоводов. Ведь Кремль и Красная площадь — это вам не склад с дефицитными дубленками. Их воровство ничего не стоило обнаружить: сверь только число наличных дубленок с числом их в ведомости.

С Красной площадью и Кремлем так поступить нельзя. Во-

руй мы их хоть всю жизнь, то есть проводи хоть тысячи левых экскурсий, от нее не убудет. Так вот, билетки и препятствовали этому левому бизнесу. Теоретически, конечно, можно было разворовывать и Красную площадь, то есть собрать по окончании экскурсии билетки и снова продать их клиентам, но практически реализовать это было очень трудно, что и принималось в расчет проверяющими организациями.

Действительно, большинство клиентов, купивших билетки, к концу экскурсии разбежались и в группе оказывался значительный процент "зайцев". Кроме того, сбор билетов у экскурсантов был сам по себе занятием подозрительным и легко фиксируемым. Посему этим практически никто не занимался. Другое дело организованная группа: тут можно поговорить с глазу на глаз с руководителем, которому и вручается вся пачка билетов. Заполучить ее обратно ничего не стоило. Полученные билетки затем относились организатору экскурсий на Красной площади, тому самому, который натужно хрипел в мегафон: "Граждане москвичи и гости столицы! Приглашаем вас на экскурсию в Московский Кремль. Кто в Кремле не бывал, тот Москвы не видал". Он с радостью получал от меня эти билетки, которые затем продавались вторично гражданам, желающим посетить Московский Кремль; кое-что перепадало и мне. Так что все были довольны.

Наши доблестные вооруженные силы для этой операции были особенно хороши. Чаще всего они прибывали на Красную площадь группами. Офицер-руководитель без долгих разговоров отдавал нам в конце экскурсии билетки, хотя, видимо, и понимал, что дело здесь нечисто. Думаю, он просто не считал воровство казенного имущества чем-то преступным. Когда я был на военных сборах, мне вообще казалось, что у некоторых из наших славных офицеров разделение имущества на свое и казенное отсутствовало. В нашей столовой мог кормиться любой; продукты таскал и совершенно безбоязненно, главное, что шла служба. Так что, повторяю, проворачивать с офицерским составом билетные сделки было всегда легко и приятно.

Наши доблестные вооруженные силы были хороши еще и тем, что наряду со школьниками были самыми безотказными потребителями наших экскурсий. Они закупали те экскурсии, которые никто, кроме них, не покупал. Я имею в виду революционно-патриотическую тематику, которая большинством трудящихся полностью игнорировалась. Исключение составляли пенсионеры, да и то не всегда. Пенсионер тоже пошел какой-то требовательный, да и свидетелей октябрьских боев в Москве, а тем более боев на Пресне, почти не осталось.

Солдатики же, как и школьники, потребляли все. Конечно, не без, а только под непосредственным руководством учителей и офицеров. Но им, как и их подопечным, простите, все было до фени. Я подозреваю, что в отдельные моменты весь состав экскурсантов дружно ненавидел экскурсию: я — по определению, солдаты — потому что их никто не спрашивал, хотя они сюда или нет, офицеры — потому что и они были людьми несвободными, и им сверху предписывалось "просветить", "охватить", "развлечь". Характер экскурсии дела не менял. Важно было то, что она была обязательной для всех нас. Вот тут-то и было полное сходство клиентов-солдат и клиентов-школьников.

Помнится, мне как-то выписали путевку на экскурсию "Бои на Остоженке". Прибыли мои клиенты: группа пэтэушников. Морды у всех были постные — так что с самого начала мне было ясно, как их волнуют октябрьские бои. "Про что рассказывать будете?" — спросил меня один. "О революции. О боях. О всяком разном", — ответил я. "То же, что и в музее Востока?" — попытался он уточнить, "А что было в музее Восточных искусств?" — осведомился я. "А всякая фигня: про какой-то буддизм рассказывали!"

Сомнений не оставалось: явно никто из присутствующих не желал узнать о героических подвигах солдат и красногвардейцев в тысяча девятьсот семнадцатом году. Я попросил руководителя группы подписать путевку, что делается обычно, когда экскурсия уже проведена. Он с радостью согласился и тотчас все подмахнул.

Среди потребителей продукции нашего Бюро армия выде-

лялась еще одним положительным качеством. Она никогда не бунтовала.

Я не был свидетелем волнений и забастовок на предприятиях. Но я легко могу представить себе, как начнутся бунты. Я их изучил, так сказать, на микромоделях. Читатель знает, наверное, что микромодели изучаемых объектов часто используются учеными для различного рода экспериментов. Прежде чем построить плотину, сооружают ее модель в одну тысячную натуральной величины и смотрят, выдержит ли она напор струи — точной копии реки, но только тоже уменьшенной в тысячу раз. Мне не было необходимости создавать такие микромодели — они были у меня перед глазами. Я был властью, экскурсанты — народом. И наши взаимоотношения точно воспроизводили взаимоотношения между любимой партией и правительством, с одной стороны, и широкими массами трудящихся — с другой.

Трудящиеся чаще всего были покорны. Они натужно пыхтели, стараясь поспеть за мной, стремительно несущимся по Александровскому саду. Они покорно вздыхали, когда я, обронив по два слова о каждом объекте, сообщал им, что в экскурсии не предусмотрен заход ни в один из соборов или музеев Кремля. Трудящиеся молча страдали, когда я занудно-провокационным голосом, показывая клиентам, что я ненавижу и их, и свою работу, перечислял съезды, проходившие в том или ином кремлевском здании, и говорил — заметьте — не как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой о личном вкладе Леонида Ильича в победу сил мира над силами войны. Трудящиеся были очень терпеливы и никаких предварительных сигналов о том, что они доведены до точки кипения я не получал.

Бунт начинался внезапно. Выслушав мой доклад о личном вкладе Леонида Ильича, какой-нибудь дряблый голосок без всякой злобы, как бы констатируя факт, говорил: "А мы, товарищ экскурсовод, между прочим все это знаем". Это было начало.

То, что голосок был слабым, дрябло-покорным, не могло ввести меня в заблуждение. У меня был опыт. Молниеносно



я строил войска в каре. Солдаты вскидывали винтовки и давали залп. Падали убитые и раненые. "Товарищи! Я, как вы понимаете, эти экскурсии не импровизирую (это, надо сказать, было чистой правдой). Здесь, в Кремле, я говорю то, что должен говорить". И я стальным взором обводил клиентов. Только твердость может спасти властителей. И только твердость может спасти экскурсоводов. И те, и другие солидарны в своем презрении к глупому и легковерному быдлу.

Массы чаще всего капитулировали. "Товарищи, мы в Кремле!" Приоткрытый клюв, загнутый, остро отточенный. Зеленые неживые глаза. Стальная чешуя оперенья. А под когтистой лапой бьется и пищит в предсмертных судорогах маленькая и беспомощная мышка.

За первым залпом следовал второй. Дробно стучит пулемет. Стальная щетина штыков медленно и неотвратно ползет на мельтешащую толпу, которая всегда чем-то недовольна и чего-то требует. И она в испуге пятится, рассыпаясь маленькими, нашкодившими мышками по дворам и подворотням. Тоскливый голосок, который все так хорошо знает про личный вклад Леонида Ильича, смолкает. Граждане покорно вытирают вспотевшие лбы, Я устремляюсь к очередному объекту и спокойно дохалтуриваю экскурсию.

Но иногда случается то, чего смертельно боятся и члены ЦК КПСС и экскурсоводы Московского городского экскурсионного бюро.

Дряблый покорный голосишко (я уверен, голосишко вовсе не желал быть зачинщиком мятежа) жалуется на то, что экскурсия как-то очень не густо замешана на исторических фактах, а все более на лозунгах и информации, всем давно известной, а посему ни для кого неинтересной. Голосишко, повторяю, тих и покорен. "Я не сочиняю эти экскурсии, не импровизирую их. Мы в Кремле..." Но я даже не успеваю закончить фразу и перезарядить карабин. Чей-то истерический и наглый голос (может, с одесского Привоза) выкрикивает: "Да, мы в Кремле! А почему мы несемся со скоростью ракеты? И нам ничего не показывают? И ничего не рассказывают? И никуда не водят?"

О ужас! Это начало конца. Как я прекрасно понимаю членов Политбюро и Центрального Комитета, когда им сообщают, что толпа, после того как против нее были брошены отряды внутренних войск, не рассеялась, а продолжает буйствовать! Генеральный секретарь быстро пробегает глазами секретную депешу: "В крупных промышленных центрах толпа разгромила обкомы и выбросила секретарей означенных обкомов в окна. Партийный актив и преподавателей вузов, а также всех, кто своим внешним видом хоть как-то отличается от широких масс трудящихся, народ линчует. Войска бессильны подавить мятежников. Отдельные части отказываются стрелять. Есть случаи убийства офицеров".

Реформы... Нужны реформы... Основательные. Структурные. Нужен Витте. Мирабо.

В передовой "Правды": "Серьезные извращения в работе партийного и советского аппарата..." Пленум ЦК: "По состоянию здоровья ушел на пенсию Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ... Пленум избрал на должность Генерального секретаря ЦК КПСС товарища..."

Действительно, очень уж по-хамски я обращаюсь с трудящимися. Люди приехали за тысячи, быть может, километров. Москву никогда, быть может, не видели и не увидят больше. Надеялись, верили в меня, думали, что я действительно им расскажу что-то путное. Дети, женщины, старики. Деньги платили, а я с ними так по-хамски. Нужно уважать людей. "Товарищи! — в моем голосе появляются примирительные нотки, — я виноват. Но все можно исправить. Все будет как надо. Мы можем даже посетить Архангельский собор-усыпальницу царей и Великих князей Московских, хотя посещение собора в нашу экскурсию не входит".

"Какой еще собор! — кричит все тот же нахальный голос с Привоза, — собор тут ни при чем. Нам обещали Оружейную палату". — "Да, да, — вторят голосу уже другие, — Оружейную палату!" — "И Алмазный фонд!" — добавляет густой и решительный мужской бас.

Мяса! Ветчины! Сосисок! И копченую колбасу — в каждый рабочий поселок! Ну что я могу поделать — я, новый Гене-

ральный секретарь ЦК КПСС? Ну, проведу я самые что ни на есть либеральные реформы. Пусть они и меня отправят на пенсию. Пусть линчуют вместе со всем Политбюро. Пусть свергнут советскую власть и изберут в президенты, цари или патриархи всея Руси Солженицына, Сахарова или Роя Медведева. Пусть. Но ведь от этого сосиски не появятся. Чего же они хотят, идиоты?

Действительно, чего они от меня хотят? Ну, поведу я их в Архангельский собор. Могу провести по всем соборам Кремля, — это, конечно, займет добрых четыре часа, но это возможно. В Оружейную же палату я их не могу провести, и не из-за моего нежелания. Билеты в Оружейную палату экскурсоводы и их клиенты покупают на общих основаниях.

Я, конечно, пользуясь своим знакомством с кассиршей, за плитку шоколада получаю изредка билеты для родственников и знакомых, но мне приходится ждать несколько дней, Да и прошу я один-два, ну от силы три, а не тридцать билетов. А в Алмазный фонд вообще никаких ходов, кроме легальных не существует. Я сам лишь однажды был в этом Алмазном фонде и любовался самородком золота в два пуда весом и алмазом "Шахом" — платой за кровь Грибоедова. Я купил билет с рук. Случайно оказался лишний билетик. Вы же понимаете, что когда ошиваешься в Кремле пять лет, то со всем можешь столкнуться, даже купить с рук билет в Алмазный фонд СССР. Я хочу, очень хочу, чтобы избежать скандала, провести моих клиентов и в Алмазный фонд и в Оружейку. Но действительно ничего не могу сделать. Действительно. Верьте мне граждане! Верьте!

Но граждане не верят. Как только они начинают понимать что власть — это вовсе не власть, что это вовсе не коршун с загнутым клювом и когтистой лапой, впивающейся им в хребет, как только они чувствуют, что ее представители не земные боги, не фараон Аменхотеп Рамзесович, взирающий на них с вершин великих пирамид, как только они осознают, что власть — это просто дряблые и больные старички, — так сразу же они, простые и преданные партии и правительству советские граждане, свирепеют. Они жаждут крови. Партийно-правительственной. Любой.

Передовица "Правды": "Социалистическое отечество в опасности!" В руках восставших большая часть европейской и азиатской части СССР. Черный дым стелится покрывалом над площадью Дзержинского, обволакивая серой слизью пепельно-стальную статую Феликса Эдмундовича, — это жгут архивы КГБ, МВД и ЦК КПСС. Бомбардировщики инсургентов проносятся уже над окраинами Москвы. У Кремля танки.

"Нам обещали! Обещали! Обещали на Красной площади! Все: соборы, Оружейную палату, Алмазный фонд и посещение дома, где жил и работал основатель коммунистической партии и создатель советского государства Владимир Ильич Ленин..." Это уже бунтуют не отдельные граждане с Привоза, бушует вся группа, бушует масса. Бушуют даже вполне интеллигентного вида ленинградцы, еще за минуту до этого обливавшие презрением нахалов из Одессы.

Обещали? Обещали! Мало что вам обещали почти семьдесят лет тому назад. Я лично, вновь избранный Генеральный секретарь ЦК КПСС, ничего вам не обещал. Я вам, наоборот, с первых дней своего правления указывал со всей определенностью, что от безделья и пьянства мясо не появится, что, кто не работает, тот не ест. Нужно не галдеть и не глядеть завидующими глазами на загнивающий Запад, а трудиться, трудиться и еще раз трудиться, как учил нас Владимир Ильич Ленин.

"Товарищи, говорю я жалобно-слезливо, не могу я вас вести в Оружейную палату или в Алмазный фонд. И не потому, что я плохой, а потому, что действительно (я стараюсь сделать ударение на этом слове) туда билеты невозможно просто так достать. В Оружейную палату билеты вы можете приобрести не раньше чем за неделю до начала экскурсии — в театральных кассах, вот хотя бы там, видите, здание салатного цвета!"

"Ложь! Обман! Надувательство!" — беснуются трудящиеся.

Теперь у них все ложь, все обман, все надувательство. Теперь они не верят ни одному моему слову. Теперь для них совершенно понятно, что Леонид Ильич, о личном вкла-

де которого в борьбу за мир я рассказывал несколько минут назад, хочет вовсе не мира, а войны, что Кремль строили не итальянцы, а китайцы, что в здании, над которым развевается гордый кумач, заседают не советские министры, а представители ЦРУ. Что бы я им ни говорил, они не поверят ни единому слову!

Чеканя шаг, идут по брусчатке специальные отряды КГБ. Суровые лица молодых чекистов. Как в декабре сорок первого. Генеральный секретарь ЦК КПСС, постаревший за десять последних дней, как за десять лет, треплет щечку молоденького солдата внутренних войск перед отправкой его на фронт. Бои с инсургентами идут уже в Химках. Гебисты распускают слух, что их ведомство всегда защищало диссидентов и евреев: спасало их от гнева народа. Все понимают, что советская власть дышит на ладан.

"Везде обман! — продолжают бушевать мои клиенты, — везде безобразия! Автобус опоздал на два часа! (А вы, дорогие клиенты, приходите всегда на экскурсию вовремя? Может быть, на службу никогда не опаздываете?) Гостиницы похабные! Столовые отвратительные! Ехали за тысячи километров. Хотели Москву увидеть. И получили удовольствие. Испоганили, изгадили отпуск".

Отвратительная крашеная прохиндейка лет сорока пяти (явно официантка из "Поплавка") закатывает глаза и всплескивает руками: "Везде жулье! Везде жулье! Даже в Кремле!" (О, времена! О, нравы!) Интеллигентная старушка, внимательно слушающая официантку, сочувственно кивает головой. И тут одновременно несколько голосов: "Жалобу! Жалобную книгу! Этого мы так не оставим".

Москва пала. Здание ЦК и КГБ горит. Разорванная на части мумия Ильича разбросана среди изрубленных канадских елочек, недавно еще в строгой торжественности стоявших у Кремлевской стены. Генерального секретаря ЦК КПСС, старого и больного, с повисшими плетями рук ведут по Красной площади. Треугольник гильотины. На Лобном месте. Огромная, густая, жадная до зрелищ толпа. В окнах ГУМа лица продавщиц, предвкушающих сладость зрелища. Вязаль-

щицы Робеспьера. "Смерть тирану!" — несется над толпой первوماйским приветствием. "Да здравствуют свобода, равенство и братство!"

Бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС медленно взбирается на эшафот. Он обводит глазами притихшую толпу и по старинному русскому обычаю кланяется народу: "Советские граждане, я умираю невиновным. Нет моей вины в том, что у вас в ближайшем обозримом будущем не будет мяса. Может быть, никогда... Я же искренне желал, чтобы это мясо вместе с ветчиной и колбасами всех сортов было у вас в изобилии..." Подручные палача, не дав ему кончить, хватают его под руки и бросают под висящий нож. Лезвие, блеснув в лучах полуденного солнца (конечно, полуденного, рабочий день в разгаре, потому и собралась такая толпа), со стуком падает. Красный жгут крови вырывается из перерубленной артерии. Голова падает в корзинку с отрубями. Палач подымает ее за жиденькие волосенки и показывает народу. Стоны радости. Пароксизм ликования. "Свобода, равенство, братство или..."

Нет, зачем нам смерть. Нам нужно мясо. Нам нужны сосиски. Значит, "Свобода, равенство, братство и сосиски!" И теперь они у нас будут.

Они решили. Этого мне не избежать. Они будут писать жалобу. И уж во всяком случае отправятся в штаб-квартиру нашего Бюро на Жданова, 5, где и сообщат, что экскурсовод такой-то отвратительно вел экскурсию и совершенно нагло халтурил. Приняв решение меня покарать, группа расходится и начинает осматривать Кремль самостоятельно.

Мне грустно. Мне страшно. Я боюсь жалобы. Ведь иногда кого-нибудь из нас все-таки выгоняют. Правда, почти всегда это те, кто откровенно и нагло запускал руку в кассу, но чем черт ни шутит. Возьмут и устроят образцово-показательный процесс, покажут всем, начальству и другим экскурсоводам, что наше Бюро взялось-таки за искоренение халтуры. И я буду первой жертвой. Ведь и, кроме этого, грехов у меня предостаточно, правда не только у меня одного, но я-таки действительно один из самых закоренелых халтурщиков. Когда я проводил экскурсии за положенные два часа пят-

надцать минут? Да практически никогда! Когда я приходил на экскурсии вовремя? Да хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать эти случаи. Если меня и выгонят, то это не будет ни актом антисемитизма, ни борьбой с инакомыслием, а будет это самая что ни на есть святая справедливость.

Хорошо, тиран пал. Прошло почти семьдесят лет. Вожди: революционеры-контрреволюционеры потихоньку избавятся друг от дружки в кровавой междоусобной грызне. Притупится от круглосуточной, многолетней работы лезвие гильотины. И все потихоньку-полегоньку придет в нормально-бытовое состояние и будут, неизбежно будут экскурсии "Борцы за народное счастье в Москве", "Герои не умирают", "Он (уж и не знаю, право, как Его будут называть) всегда с нами" и так далее и тому подобное. И эти экскурсии кому-то надо будет водить.

Ну выгонят они меня. И какую же замену найдут? Предположим, примут в штат, дабы заменить меня, халтурщика, какого-нибудь скромно-восторженного прозелита или даже прозелитку экскурсионного дела. Поначалу от восторга у нее, может быть, даже голос будет срываться. Но ведь восторг, как и все в этом мире, преходящ, и прозелит или прозелитка с неизбежностью исхалтурятся, как исхалтурился я. Но у меня же опыт, за пять лет работы я изучил массу и знаю, как с ней обращаться. Как ублажить обещаниями и улыбочками. Как припугнуть. Я опытный руководящий работник. Я кадр! А кадры нельзя трогать. В этом соль политики партии на современном этапе. Нет, меня не тронут. Я успокаиваюсь и иду в пельменную рядом с библиотекой имени Владимира Ильича Ленина. Простояв в очереди с час, я получаю отвратительное варево, которое исключительно из-за отсутствия альтернативы с жадностью уничтожаю.

Нет, я не считаю каждый отдельный бунт моих клиентов для меня фатальным. Но я не хочу, чтобы мое досье в Бюро пухло от жалоб. И тут, я думаю, моя философия жизни опять же совпадает со взглядами партии и правительства: они тоже не желают увеличивать количество забастовок и волнений. А потому и для меня и для них армия — это идеальная социальная группа.

Солдатики никогда не бунтуют, что бы ни случилось. Им пообещали заход в Оружейную палату, а никто и не собирался их туда вести — они молчат. Они исходят из молчаливой презумпции, что обман или полубман — это нечто само собой разумеющееся в общении армии и общества.

Я бегу стремительно вдоль Александровского сада. Мне легко бежать по аллее в своих спортивных туфлях, и солдатики бегут за мной, стуча по мостовой своими кирзовыми сапогами. (Мне говорили, что только в советской и немецкой армиях еще остались "на вооружении" сапоги.) И офицер их бежит рядом. И тоже не жалуется. Я бурчу себе под нос. Солдаты ничего не слышат, но опять-таки никаких нареканий. Я провожу экскурсию за час вместо положенных двух с четвертью, но и это не вызывает недовольства. А ко всему еще и железная дисциплина. Это вам не школьники, носящиеся как угорелые по всей площади. И не штатские совграждане — те все отстают или путаются под ногами. Нет, тут все по-другому, а в конце экскурсии вместо постных морд или прямых угроз настроичить на тебя жалобу — всегда благодарность.

Нет у меня никаких конфликтов и с офицерами. Они обычно спокойно-снисходительны не только к моему бегу и бормотанию, но и к тирадам о личном вкладе Леонида Ильича. Пройдя Большой Кремлевский дворец (около него я особенно широко распространяюсь о Программе мира и личном вкладе Леонида Ильича), я любил заговорить с ними о разрядке. Так, между прочим, полуофициально. Обычно разговор начинаешь так: "Товарищ майор, вот тут разрядка и разоружение намечаются, так это же по вам прямой удар, прямо в лобовую броню. Вот перекуют мечи на орала, а вас на пенсию или будете коптить потолок в какой-нибудь поганой конторе кадровиком. По-моему, перспективы самые что ни на есть для вас хреновые. Но я, конечно, человек штатский и могу недопонимать чего-то". На все эти мои разглагольствования следовала стандартная реакция. Причем логическая связь между моим вопросом и всем последующим полностью отсутствовала. Они начинали поносить Никиту. И не за либерализм, и не за развенчание культа, а за то, что стал по-на-

тоящему разоружаться, без дураков. И многих кадровых офицеров отправил на пенсию; и корабли на металлолом распиливал. Что же касается нынешней разрядки, то они в нее всерьез не верили. Полагали, что дело идет вовсе не к разоружению, а к довооружению. Один так прямо и сказал: "Еще немного поднатужимся — и такой перевес у нас над ними будет, что мы им сразу рот заткнем".

Так же проповедовали нам и на нашей военной кафедре. Помнится, во время сборов стали мы задавать одному из наших преподавателей — настоящему кадровому офицеру — вопросы: "Товарищ капитан, настрой партии сейчас на разрядку. Как нам пропагандистам-агитаторам на это реагировать?" Дело было в самом начале этих разрядочных игр, когда и облачка на небосклон не набегало. На вопрос товарищ капитан ответил: "Разрядка? Мало что разрядка. Вот Гитлер тоже пакт о ненападении подписал с нами. Все знают, что из этого вышло. Не разряжаться, а довооружаться нужно".

И не только, скажу вам, офицеры не хотели слушать про разрядку и разоружение, но и простые советские граждане. И дело было не в том, что они так уж желали, довооружившись, согнуть империалистов в бараний рог. Здесь было иное. Разрядка давно уже стала для них пропагандистской жвачкой, которая, если и не вызывала тошноты, то и аппетита тоже. И вот, когда я вещал об ужасах войны и привлекательности мира во всем мире, большинство моих клиентов глядело в потолок, демонстрируя полное нежелание признавать прелести мирного сосуществования. Исключение составляли лишь старушки. Вообще старушки были очень благодарными слушательницами и никогда не жаловались ни на что. Характер информации их мало интересовал. Для них была важна музыка слов. Да и то, что многие были в Кремле впервые, приводило их в состояние религиозного благоговения. Посещение Кремля приравнялось к церковной службе или паломничеству к Гробу Господню. В моей экскурсии ими все потреблялось совершенно одинаково: и рассказ о закромах Архангельского собора, и повествование о невиданных успехах нашей промышленности и сельского хозяйства.

Но вернемся к нашим доблестным вооруженным силам. Итак, повторяю, офицеры в разрядку не верили. И даже к личному вкладу Леонида Ильича относились с известным скепсисом. Но не возмущались, не бунтовали, а тихо и спокойно выслушав мои разглагольствования, или уходили во свояси, или же направлялись самостоятельно к какому-нибудь собору или историческому памятнику.

Никаких проблем не было у меня и с представителями армий противника. Нет, не водил я по Кремлю офицеров армии НАТО. И видел их лишь однажды: какой-то группе военных что-то объясняли у царь-колокола по-английски. И не только английский выдавал их буржуазное происхождение, но и их фигуры: они были подтянуты и этим решительно отличались от нашей славной элиты вооруженных сил. Ее внешний вид я хорошо изучил во время сессий Верховного совета СССР, когда блестя эполетами генерал-полковники, генералы армии и даже маршалы прогуливались среди серебристо-зелененьких елочек, среди красных пятен тюльпановых клумб, среди узбечек в бордовых халатах и разноцветных бусах. Это были, по-моему, те немногие минуты в жизни генералов и маршалов, когда они ходили пешком. Эта нелюбовь их к пешеходным прогулкам, как и к физическим упражнениям, определенно сказалась на их фигурах. Некоторые из них, как я полагаю, должны были испытывать большие затруднения, сядя в служебный автомобиль. Причем, как мне опять кажется, величина их животов была прямо пропорциональна числу звездочек на погонах: генерал-полковники еще более или менее были похожи на людей, но вот на генералов армии или маршалов страшно было смотреть. Представляю, какие трудности были бы у них при найме на работу в Америке. Известно, что толстяков здесь не любят — пристрастие к еде свидетельствует об отсутствии воли. В советском генштабе никаких затруднений в карьере толстяки не испытывают.

Но вернемся к нашим баранам. Я не водил по Кремлю офицеров армии НАТО, но вот бывшего солдата вермахта пришлось один раз обслужить. Это было в разгар весны, кажется, в апреле.

Мне, как обычно, вручили группу у ГУМа. Представившись, я по привычке обшарил группу глазами, дабы проверить, не затесался ли среди моих клиентов представитель проверяющих органов. Для экскурсоводов весна была опасным сезоном. Зимой проверять, не проносимся ли мы по Кремлю со скоростью баллистической ракеты, было слишком холодно. И представители проверяющих организаций (чаще всего это были женщины средних лет), ни себя, ни нас не мучили. В это время обычно происходил отлов халтурщиков на автобусных экскурсиях. Весной же начинался охотничий сезон на пешеходников. Волна террора прокатывалась до начала лета, а затем сходила на нет. Даже начальство понимало, что, выполняя план за счет летнего притока туристов, мы не можем водить экскурсии положенное время. Выполнять план нужно было не только нашему начальству, но и Городскому совету по туризму. Этот-то Совет нас и проверял.

Обычно проверяющая личность оказывалась вальяжной дамой, перешагнувшей бальзаковский возраст. Приняв вид обычной туристки, эта особа могла пройти с тобой весь маршрут и написать затем обстоятельную жалобу. Вовсе не писать ни на кого кляуз она тоже не могла — прокуроры и палачи не могут существовать без клиентов, которым время от времени нужно отсекают головы. В противном случае их пришлось бы отправить на пенсию или сажать на зарплату в семьдесят рублей в месяц. Так что во время проверочной кампании чья-то голова неизбежно должна была полететь.

Я понимал это. Я был особенно внимателен. Я обстоятельно осматривал каждого из клиентов. И тут я заметил какого-то странного гражданина. Высокий, холеный, в модном костюме. Гебист? Нет, не может он быть гебистом: уж возраст был явно не тот, не располагавший к закручиванию рук да и животик больше положенного. Простой советский гражданин? Но он слишком хорошо выглядел для простого советского — сразу видно, что не ездили на нем всю жизнь. Иностранец из братской страны? Нет, уж больно независим. И я спросил его. "Я — австриец", — ответил он на чистом русском языке. "А где же это вы так прекрасно русский язык

выучили?" — "Где? — австриец улыбнулся. — У вас выучил, в плену во время войны, и, как видите, по сей день не забыл. Вот вас прекрасно понимаю". (Явный намек на мое невнятное бормотание!) "Кремль хотите посмотреть?" — продолжал допытываться я. "Хочу. Тогда, в сорок третьем, меня в Кремль на экскурсию не направили, а вот сейчас приехал туристом. Надеюсь, на этот раз попаду". — "Естественно, попадете, — бодро заверил я его. — Кремль открыт для посещения с 1956 года. Вход в него свободный (этой информации наше Бюро избегало, она могла весьма негативно отразиться на кассовых сборах), так что можете с экскурсией направиться, а можете и самостоятельно".

"...Товарищи, мы подошли к Могиле неизвестного солдата..." Я произнес положенную речь. Затем направились к Боровицким воротам — они оказались заперты. Отделившись от группы, я подошел к стоящему у ворот товарищу. "Закрыли?" — спросил я. "Ага". — "А почему?" — "Нам не объясняли. Пришел приказ от коменданта закрыть, мы и закрыли".

Окрыленный, бурля от радости, но с печальной миной я общаю своим клиентам, что экскурсия продолжена быть не может. Путевка была подписана, и мои три рубля у меня в кармане.

Вид негодующих экскурсантов, которых я, как каждый нормальный работник сферы обслуживания, смертельно ненавидел, доставлял мне ни с чем не сравнимое наслаждение. "Безобразие! Хамство! Обман!" Знакомые, милые слова. "Почему не предупредили? Почему не сказали на Красной площади, что Кремль намереваются закрыть?" — наскочил на меня гражданин в шляпе. "Дорогой, уважаемый товарищ, — отвечаю я, испытывая садистское наслаждение от вида его сердитой беспомощной физиономии, — дорогой, уважаемый гость столицы, когда комендант Кремля получает приказ его закрыть, он наше Бюро (делая ударение на слове "бюро", я подчеркивал, насколько ничтожно оно по сравнению с такой фигурой, как комендант Кремля) не спрашивает. Он закрывает его и все".

Группа продолжала еще по инерции вскрикивать: "Мерзавцы! Жулики! Прохиндеи!" — но уже без особого энтузиазма. Энтузиазм в выкрикивании лозунгов о тотальном прохиндействе мог быть неправильно понят. И граждане стали потихоньку рассредоточиваться.

В Александровском саду остался один мой австриец. "Вы уж извините, — стал я оправдываться, — но это не моя вина. Начальство большое потребовало ..." — "Я понимаю, — кивнул мне бывший солдат фашистского вермахта, — Кремль зря закрывать не станут..."

Избавившись от клиентов (других экскурсий сегодня у меня не было), я поспешил в "Историчку", расположенную в Армянском переулке, размышляя по дороге, что же это могло приключиться в Кремле.

Кремль закрывали периодически. Обычно это происходило или во время переговоров Леонида Ильича с представителями иностранных держав или же во время пленумов ЦК, неожиданно собираемых при чрезвычайных обстоятельствах. Размышляя о возможных причинах закрытия Кремля, я вошел в библиотеку и тут же встретил знакомого. "Я только что из Кремля". (Фраза "я только что из Кремля" иногда звучала в моих устах эффектно.) "Так вот, его закрыли. Закрыли совсем неожиданно. Там явно что-то происходит". Но мой знакомый не повел и глазом. "Ничего там не происходит, слет ударников комтруда". Только утром следующего дня я понял, что был я абсолютно прав. В Кремле действительно "что-то происходило", вернее "что-то произошло": пленум ЦК, как сообщила газета "Правда", "вывел из состава Политбюро товарища Шелепина."

Итак, повторяю: не было у меня никаких конфликтов с представителями вооруженных сил. Ни отечественные, ни союзные, ни даже вражеские армии меня не трогали. Но все же одного бунта я не избежал.

Первоначально экскурсия не предвещала никаких сюрпризов. Это был офицерский дом отдыха, приведенный массовиком-затейником на Красную площадь.

После того как группа была мне вручена, я профессиональ-

ным ястребиным оком окинув ее, не обнаружил в ней ничего особенного. Разве что все клиенты — офицеры. До этого офицерские дивизии мне в бой водить не доводилось. Род войск — самый разнообразный. Эффектнее других выглядел старик-полковник с белыми роскошными буденовскими усами. Как я узнал позже, он действительно служил в кавалерии вплоть до дня ликвидации этого рода войск. Были здесь и молоденькие, только что испеченные лейтенанты мотопехоты. Военно-морской флот был представлен майором лет сорока с черепом, едва прикрытым скудной шевелюрой. Вот этот-то майор и пристал ко мне с вопросом, которого я вовсе не ожидал. Вопросом, острым, как бритва.

Как я уже писал, военные были не только самыми выдержанными и нескандальными клиентами, но и клиентами наиболее уверенными в себе. Они не боялись не только выражать свое скептическое отношение к разрядке, но порой и к самому Леониду Ильичу. Вся эта свобода выражения собственного мнения объяснялась очень просто: начальство позволяло и даже рекомендовало им проявлять известный скепсис к борьбе за дело мира во всем мире, дабы не притуплять бдительность войск.

Но вопрос майора превысил дозволенное. "А где тут правительство ездит?" — осведомился он. Я поднял брови, как бы говоря: "Товарищ майор, да какие, простите, вы вопросы задаете? Вы — человек военный, и не мне вам объяснять, что подобного рода вопрос не соответствует ни времени, ни месту". Мой выразительный взгляд ничуть не охладил познавательный пыл майора, и он тут же ошарашил меня еще больше: "А как тут правительство охраняется. Оно, как я полагаю, в бронированных машинах сидит, так вот интересно мне было бы знать расположение охраны: сидит ли она вместе с водителями или только за ними в других машинах следует?"

Вспомнив, как реагируют "искусствоведы в штатском" на подобный повышенный интерес к знаниям, я, как мне казалось, бросил на него испепеляющий взгляд. Мое беспокойство объяснялось просто. "Искусствоведы" могли услышать наш разговор, и не разобравшись, кто инициатор его, обвинить меня.

И вот я буравлю майора глазами. И мой буравчатый взгляд должен говорить следующее: "Товарищ майор, как вы, наверное, догадываетесь, я не только просвещаю граждан и вожу экскурсии, но и по совместительству работаю в другом учреждении, куда я периодически сообщаю информацию, могущую быть для этого учреждения интересной. Так вот, уважаемый товарищ майор, подобного рода вопросы обычно интересуют тех, кто готовит покушение на членов нашего прекрасного правительства и сплоченных в нерушимые ряды членов партии, руководящих членов, конечно. К тому же уже был прецедент — военнослужащий стрелял в Генерального секретаря ЦК КПСС. Думаю, случай этот вам известен, так что во избежание недоразумений, которые сильно усложнят вашу жизнь, я бы рекомендовал охладить ваш пыл. А не охладите — так можно прямо в Кремле и сдать вас куда следует".

К слову сказать, по моим наблюдениям, "искусствоведы" не слишком доверяли военным и отнюдь не полагали, что если на человеке военная форма, то никакого вреда он правительству не причинит. Помнится, однажды над Кремлем с каким-то настырным рокотом кружился вертолет. Вертолет, естественно, был советский, а не американский, но это ничуть не успокоило стоящего у Боровицких ворот "искусствоведа". Он задрал голову и не без подозрения следил за ним. Ведь с вертолета так легко и удобно выпустить несколько боевых ракет и за считанные минуты превратить и место, где заседает правительство, и само правительство в кучку пепла. (Фильм "Апокалипсис сегодня", который я смотрел в Америке, прекрасно демонстрирует боевые возможности вертолетов, и, хотя там полет вертолетов сопровождался "Полетом валькирий" Вагнера, но не все же следует слепо копировать у буржуазного Запада.) Словом, вертолет, кружащий над Кремлем, очень раздражал гебиста. "Что же это он, гад, все кружит?" — злобно говорил он, и только, когда вертолет скрылся, гебист с облегчением вздохнул.

Своей в доску ГБ признавал только Таманскую дивизию. Это была преторианская гвардия. Предполагалось, что только

на нее и могут опереться партия и правительство в чрезвычайных обстоятельствах. А чрезвычайные обстоятельства могли возникнуть, ох как могли! Например, если группа солдат под предводительством какого-нибудь сержанта, которому надоело быть сержантом (ведь был же в истории капрал, которому надоело быть капралом), задумает маленький государственный переворот. Насколько реальна такая ситуация, предоставлю судить читателю.

Однако вернемся к майору. На него мои испепеляющие взгляды не действовали. Он не отошел от меня, не прекратил разговора, хотя и переменял все-таки тему. "Жалование у меня ничего, но вот с бабами, — он бережно погладил свои жиденькие волосики, — не ладится. Да и когда ими заниматься? Все в походе, все под водой. Такие вот дела!"

Группа между тем подошла к Могиле неизвестного солдата. Я вправе был ожидать взрыва эмоций. Я ждал торжественных лиц у молодых офицеров, суровых и скорбных — у старших. А слезы? Скупые солдатские, скупые мужские? Я рассчитывал на них. И уж конечно речи — о былых боях, о прошедшей юности.

Не вышло из меня Кассандры. Не было торжественных лиц. Не было скупых слез. Не было воспоминаний о боевой славе. А были лица без всякого выражения, покуривание и какие-то отнюдь не патриотические, а житейские разговоры вполголоса. Но я все же настаивал и утверждал, что эта Могила дорога каждому советскому человеку.

Еще на многом настаивал я в своем просветительском экскурсионном рвении. Я рассказал клиентам о тактико-технических характеристиках кремлевских стен, об истории его создания и направился к Большому кремлевскому дворцу. Стою у его стен и говорю, как и положено, о происходивших здесь съездах партии и особенно о Программе мира и о личном вкладе Леонида Ильича. И тут... Да разве я мог о таком подумать?! Но вот оно, началось.

Ах, что там граждане со своими гражданскими бунтами, со своими робкими протестами, со своими зачинщиками с плаксиво-жалобными голосишками. Что это все по срав-



нению с военным бунтом?! Тут все произошло иначе. Без всяких предупреждений из группы вышел пожилой полковник и, как бы информируя меня о настроении группы, заявил: "Дорогой товарищ экскурсовод, все, что вы нам сейчас рассказывали, нам хорошо известно, и мы желали бы узнать о чем-либо другом". Группа молчала, но это молчание лучше свидетельствовало о ее настроении, чем истерики и скандалы посланников одесского Привоза.

Я обомлел. Я им говорю про Генерального секретаря, трижды героя Советского Союза, Председателя Совета труда и обороны, а они мне отвечают, что они все про него знают. Может, и на политинформации они тоже заявляют, что все знают и желательно бы рассказать не о передовице "Правды", а о передовице "Вашингтон пост"? А выступление от имени группы? Да это же коллективка! Это же подсудное дело! Я должен подавить мятеж. В зародыше. Чеканя слово, я говорю: "Товарищ полковник! Тут не импровизация. Я на службе (тут ударение). Вы и я в Кремле!"

Между тем непорядок в моей группе уже замечен бдительными "органами". Несколько "искусствоведов" уже кружат поблизости и наблюдают за тем, как будут разворачиваться события. Я ожидал, что после моего заявления товарищ полковник немедленно смолкнет, вытянет руки по швам и, щелкнув каблуками, вернется в строй. Но нет. Гвардия не сдается. К полковнику присоединился буденовец. "Мы, товарищ экскурсовод, как уже вам говорили, все прекрасно о съездах партии знаем. Вы нам о соборах расскажите".

Около моей группы вилась уже солидная стая "искусствоведов". Гебисты улыбались. Гебистам все это нравилось. В конце-концов, и им тоже до смерти надоел личный вклад Леонида Ильича и Программа мира. А может, им было интересно смотреть на меня, у которого от страха стал заплетаться язык. Да и все происходящее было хоть каким-то развлечением, нарушающим монотонный ход жизни на вверенном им пяточке кремлевской земли.

"Товарищи! — взмолился я. — Я не могу вам только про соборы рассказывать. Я на работе, поймите меня". — "На ра-

боте — не на работе, а мы все это слушать не хотим", — безжалостно отпарировал мои стенания полковник. — Если не можете ничего путного рассказать, мы займемся осмотром сами". Молчание — знак согласия. И группа молчала. Полковник взмахнул рукой, указывая направление движения и группа, вместо того чтобы последовать за мной к памятнику Ленину, где ей предстояло узнать, что он "самый человечный человек", свернула на Соборную площадь.

Я не на шутку перепугался. Я еще с таким не сталкивался. Внутренним взором я видел, какие репрессии обрушит на меня начальство во главе с самим товарищем Замираловым, известным своей любовью к нашим доблестным вооруженным силам. Я видел, я читал мысленным взором жалобу тридцати офицеров. А "органы"? Они также не могли не оставить без внимания этот случай. "Органы", может, и не напишут жалобу, но просто отметят, что я не умею работать с людьми, а посему мое отсутствие в Кремле является гораздо более предпочтительным фактом, чем присутствие. И я могу быть использован для других, менее ответственных экскурсий. (Это будет обязательно отмечено в докладной директору.) А это значит, что плакали мои три восемьдесят. Это значит, что мне крышка. Это значит, что меня отошлют в Ботанический сад...



## МАРТ

*Венок сонетов*

Я.Х.

1

Я думала, что слово может  
Немного радости, чуть-чуть,  
Немного свежести вдохнуть,  
Ведь век, казалось бы, не дожит...

Зачем же в нас печали множит  
Наш каждый шаг, и как свернуть  
С пути, который (в добрый путь!)  
Все так же мучит, так же гложет?

Какой-то долгою виною,  
Как будто полную сумою  
Придавлена. Не сбросить с плеч.

Уменьшишь груз мой, пожалеешь?  
Ведь ты все можешь, все умеешь —  
И погубить, и уберечь.

*Лия ВЛАДИМИРОВА*

2

И погубить, и уберечь  
Себя мы можем только сами...  
И снова свет, и снег, и пламя  
Из тьмы преданий и предтеч.

Истай, Снегурочка, меж нами!  
Сгорай, игра не стоит свеч.  
Но теплым хлебом пахнет печь,  
А берег —теплыми снегами.

Зима была на повороте.  
Скворцы в стремительном полете  
Спешили дали пересечь...

Повсюду, помнишь ли, повсюду  
Живой воды живое чудо.  
Твой март и первый отсвет встреч.

3

Твой март, и первый отсвет встреч,  
И вкус березового сока...  
Так небо юное высоко,  
Так некому предостеречь

От счастья! Полно, в землю лечь  
Всегда не поздно одинокой.  
В тебя гляжу я, в мир широкий,  
А все же хочется прилечь,

Забыть, забыться, под пальто  
Дрожать от холода... Никто  
На лоб мне руку не положит.

Так трудно быть еще живой!  
Тот голос, добрый голос твой,  
Он до сих пор меня тревожит.

4

Он до сих пор меня тревожит,  
Сонет твой, вешний цвет в снегу,  
В нем блещут дали... Не солгу,  
В таких цветах и я моложе.

И снова ближе и дороже  
На этом дальнем берегу  
Все то, что втайне берегу,  
Что было скрыто под рогожей.

Так дай же снова и опять  
Стихам сквозь годы просиять,  
Таким живительно-похожим

На память лета под Москвой...  
Но цвет, но запах полевой  
Уж больше, может, не поможет.

5

Уж больше, может, не поможет  
Ни снов, ни весен череда.  
Пусть память, талая вода,  
Изнемогает, изнеможет,

А все ж себя не превозможет.  
Ликующие холода!  
Так синь подснежно-молода,  
Слабей подснежника, быть может.

И с каждым часом убывая,  
Я прибываю, прибываю...  
Прости же!.. не противоречь!..

И что сравнится с боязливым  
Отливом сил, весны приливом?..  
Ничто — ни музыка, ни речь.

6

Ничто — ни музыка, ни речь  
Нет, не утешили смятенья.  
Твой март мгновенной светотенью  
Успел мгновенье подстеречь,

Лучом ответный луч привлечь,  
Кольнуть и кануть в сновиденье,  
И можно ветку не сирени  
Росой сиреневой зажечь.

И до утра мы не поверим  
Вчера свершившимся потерям,  
Где кончено — и не перечь...

Ведь жизнь, повсюду жизнь, и снова  
Сквозь волны музыки и слова  
Струиться — водам, свету — течь.

7

Струиться — водам, свету — течь,  
Без утомленья, без границы  
Все так же будет день светиться,  
И так же память будет жечь.

Свое дыхание пресечь,  
С твоим навек дыханьем слиться!  
День полнится, мгновенье длится,  
Родится встреча из невстреч.

В какой-нибудь недальний год  
Далекий поля поворот  
Тебе откроется, тревожа:

Пора — все кончено, — домой,  
В мой сон последний, в август мой!  
А мне изныть в осенней дрожи.

## 8

А мне изныть в осенней дрожи...  
 А все же осенью светло,  
 И это позднее тепло  
 Порою с ранним мартом схоже.

А даль все выше, чище, строже,  
 Как только-только рассвело,  
 И сердце бьется тяжело,  
 И вдруг сожмется в день погожий.

Как будто помню наизусть  
 Всю эту радость, радость, грусть,  
 Груз легкий памяти непрочной...

Листаю летнюю тетрадь —  
 В ней осень, осень... Как понять?  
 Но ты бы мог, я знаю точно.

## 9

Но ты бы мог, я знаю точно,  
 Мгновенье памятью обнять,  
 Чтоб летний дождь кипел опять,  
 Шумел по трубам водосточным.

Ах, если б свету прибывать  
 В тот полдень, вешний, беспорочный!  
 Но длится, длится сон восточный,  
 И снится первая тетрадь.

Там каждым бликом блещет сад,  
 Трепещет влажно и назад  
 Зовет внезапно, неурочно...

Тот день июньский... Дай вздохнуть!  
 Верни хоть чудом, как-нибудь  
 Меня из горечи бессрочной.

## 10

Меня из горечи бессрочной  
 Вернешь ли? Нет, ответа нет.  
 Мой задохнувшийся сонет —  
 Один ответ в тиши полночной.

От жизни, прожитой заочно,  
 Осталось лето прошлых лет.  
 Оно, как все земное, прочно,  
 Как этот воздух, воздух, свет...

Как отблеск цвета лугового,  
 Как отзвук сказанного слова,  
 Когда-то ставшего судьбой.

А слово радости так слабо,  
 Так поздно! Дочь свою хотя бы  
 Вернуть в тот полдень голубой.

## 11

Вернуть в тот полдень голубой  
 Тебя, весь мир влажнозеленый!  
 Заснуть, проснуться удивленно,  
 Со старой встретиться судьбой.

И слушать, слушая прибой,  
 То близкий гул, то отдаленный, —  
 То ветер севера соленый  
 Приводят волны за собой.

И острой свежестью реки  
 Запахли влажные пески,  
 И ты сказал неосторожно,

Что день моих коснется щек,  
 И мы побудем там еще,  
 Где невозможное — возможно.

12

Где невозможное — возможно,  
Там не бывала я. Впотымах,  
В смятенье, в страхе, впопыхах  
Плутала путано и сложно.

И — в слезы. Поводы ничтожны,  
А капли блещут на щеках,  
И дали в теплых облаках  
Сияют влажно, бестревожно.

Скажи мне, разве же не грех  
Вся эта глупость, плач сквозь смех  
И смех сквозь слезы, смех острожный?

У марта все наоборот,  
А все ж идет солнцеворот  
И праздник света непреложно.

13

И праздник света непреложно  
Приходит к нам, приходит в нас.  
Весною ранней, в ранний час  
Вдруг тронет свежестью дорожной.

И мы с тобой, быть может, ложно  
"Вот-вот, — подумаем, — сейчас..."  
О, если бы нас кто-то спас  
От вымыслов пустопорожных!

Блажен, кто в прелести обмана  
Искал забвенье неустанно,  
Был пьян и светел сам собой.

Работа! Лень! Уединенье!  
Одна минута вдохновенья  
Преображает нас с тобой.

14

Преображает нас с тобой  
Иллюзия преображенья.  
О, грусть движенья без движенья!  
Часов давно умолкший бой!

Стоять и стыть (и вечный бой?)  
Без слез, без слов, без выраженья...  
Была я чьим-то отраженьем  
Или безропотной рабой?

Что эти праздные труды?  
Но праздник света и воды  
Пусть друг на музыку положит.

Все выразить — весны подход,  
Мгновенье, полное, как год,  
Я думала, что слово может.

15

Я думала, что слово может  
И погубить, и уберечь...  
Твой март и первый отсвет встреч!  
Он до сих пор меня тревожит.

Уж больше, может, не поможет  
Ничто — ни музыка, ни речь...  
Струиться — водам, свету — течь,  
А мне изныть в осенней дрожи.

Но ты бы мог, я знаю точно,  
Меня из горечи бессрочной  
Вернуть в тот полдень голубой,

Где невозможное — возможно,  
И праздник света непреложно  
Преображает нас с тобой.



*Вилен БАРСКИЙ*

## ГЛОТАЕМ СОЛЬ...

### ГИПЕРРЕАЛИЗМ

да были сосны или нет  
но луг лежал долиной райской  
и солнце свой велосипед  
катило долго  
теней след  
касался ли подножий сосен  
но вправду приближалась осень  
сухой и теплый ветер лет  
ближайших был окрашен кровью  
как нож  
как отвечают нет

а впереди меня двойник  
спокойно шел и колебал  
горячий воздух берег в профиль

ГЛОТАЕМ СОЛЬ...

73

и я наверно все б отдал  
чтобы он в карты проиграл  
себя или кому-то пропил  
но он не исчезал он шел  
все так же прутиком играя  
как я  
а трав зеленый шелк  
изображал долину рая

*апрель 1979*

\* \* \*

нужно забыть  
зачем ты родился  
и вытянуть ленту свободы  
из пасти у времени

о факир долгожданный  
так долго мы ждали  
забыли мы даже имя твое

*июль 1967*

\* \* \*

глотаем соль  
машинам счет ведем  
стоящим проносящимся  
разглядываем спереди и сбоку  
счет ведем

глотаем соль  
кристаллы слез небывших  
слизываем с губ  
просматриваем сны

стираем их  
салфеткою белейшею бумажной  
просеиваем пыль  
тончайшую  
окутанные ею  
лишь время зрим чистейшее  
(пылинки жизнь)  
текущее...

*апрель 1982*

\* \* \*

голубя дикого крик  
смертный разлом души  
горе прекрасно  
даже если небо забыло

*май 1980*



*Андрей КЛЕНОВ*

## ЛЕСНАЯ ПОВЕСТЬ

*Из цикла стихов\**

### ПЕСНЬ ОБ ОЛЕНЕ

1.

Его рога — взгляните сами —  
два древних древа: он олень.  
Мы стали добрыми друзьями,  
и мне ходить к нему не лень.  
Мы не обязаны друг другу,  
но разобщенный мир бедней.  
Он понимает мою руку  
и сразу подставляет ей  
подгрудок золотисто-красный,  
загривок красно-золотой.  
Его я глажу не напрасно,  
мы делимся с ним теплотой.  
Олень мой — трубадур любовный,  
но он скромней других зверей.

\* Первая часть цикла опубликована в 69-ом номере.

Его я видел братьев кровных  
у коми и у лопарей.  
В таком почете и отваге,  
кого еще кормить бы мог  
в холодной тундре скудный ягель  
под белым снегом бедный мох?  
Но покоряя льды и воды,  
он на рогах несет зарю  
и подпирает неба своды.  
И я оленю говорю:  
"Рога твои — два гордых струга!  
Твои державные рога,  
Пусть никогда не тронут друга  
да и помилуют врага.  
Но звезд прогнулись коромысла,  
и дух свой силой напои!  
Полны поэзии и смысла  
твои осенние бои.  
Путь совершая многомильный,  
переходя болота вброд,  
пусть самый молодой и сильный  
продолжит ваш олений род.  
Вставай! Иди! Соперник рядом  
Не обходи его. Ревии...  
Олень внимал моим тирадам  
и нос лизнул мне в знак любви.

2.

Они режут. Они трубят.  
Но слышат самый тихий шорох.  
И лес, от головы до пят,  
пронизан искрами, как порох.  
Они трубят. Они режут.  
Трещат рога и стонут ноги.  
Два ратоборца бой ведут.  
бескомпромиссные, как боги.

Перекликаются скворцы,  
предупреждая лес и замок,  
что безрассудные самцы  
чужих оспаривают самок.  
Они режут. Они трубят.  
Они в крови и пахнут потом.  
Им в этом деле брат не брат.  
Их ждет любовь за поворотом.  
А может быть, сама земля,  
дрожа, как в первый день творенья,  
раскрылась и готова для  
любви и оплодотворенья.  
Готова сеять и молоть  
неистошцимая природа,  
и млеко вспоенная плоть  
вопит о продолженьи рода!

3.

Они легки, как ветерок.  
Они нежны, как дуновенье.  
Я сохранил для этих строк  
одни старинные сравненья.

Глаза их полны влажной мглы,  
как небом вымытые сливы.  
Они, как молнии, смелы.  
Они, как ласточки, пугливы.

И, право, уверяю вас:  
ни у одной моей знакомой  
я не видал подобных глаз,  
до края налитых истомой.

Я позабыть их не могу,  
и мне под утро будут сниться  
в седом тумане на лугу  
испуганные оленицы.



## ПРОЩАНИЕ С ОЛЕНЕМ

Прощай, Олешек!  
Прощай, Алешка!  
Побудь со мною  
еще немножко.

Я не забуду  
твои дубравы,  
боры и рощи,  
цветы и травы.

Прощай, Олешек!  
Прощай, Алешка!  
От старых вешек  
рябит дорожка.

## ОДА КАБАНУ

Такого никогда не приручить!  
Серебряная шерсть его покрыла.  
А имя существительное — рыло  
произошло-то от глагола — рыть.

## ПУЩА. ВЫБРАННЫЕ МЕСЯЦЫ

### АВГУСТ. ГРИБЫ

Шел дождь, и по его стопам  
пошли грибы, но долго  
никто не верил, что грибам  
присуще чувство долга.  
Они идут. Они растут.

Они берут любой редут.  
На пни, как на редуты,  
боровики ведут их.

Год, видно, выдался грибной,  
и это не впервые.  
В тени осинника сквозной  
возникли, как живые,  
в росе, с иголками в руках  
и в солнечных накрапах  
красавцы в белых сапогах  
и в разноцветных шляпах.

Опередив семью опят,  
беспечные волнушки  
бегут у елок из-под пят  
не теплые опушки.  
Три подберезовика — их  
прозвали здесь обабки —  
надели до бровей густых  
коричневые шапки.

А вот мечты моей предел —  
лисички-невелички:  
их кто-то в красный мох продел,  
как бантики в петлички...  
Гриб несомненно дар судьбы  
и грибнику награда,  
но чтобы взять в лесу грибы,  
мой друг, нагнуться надо!

### ОКТАБРЬ. КРАСНОЛИСТЬЕ

Краснолистье и желтолистье —  
дорогие уборы леса:  
на осинах они сгорели,  
на калинах пока горят.

Краснолистье и желтолистье —  
ветра праздничная рубаха:  
он одернет ее, оправит  
и, как пьяный, пойдет плясать.

Краснолистье и желтолистье —  
строк моих простая одежка:  
ничего, что они без рифмы,  
их ночной зарифмует дождь.

### **ЯНВАРЬ. СЛЕДЫ НА СНЕГУ**

1.

Пролески — белые страницы,  
куда записаны следы  
оленя, зайца и лисицы,  
петлявших в поисках еды.  
Чуть раньше о лисе узнал бы  
врасплох захваченный русак,  
его, наверно, не догнал бы  
всемирно признанный рысак.

2.

Вдоль озера прошли олени  
и обглодали краснотал.  
У одного из них колени  
не слушались, и он отстал.  
Напрасно! С ним беда случится.  
Он до утра не доживет.  
Ему подьярок и волчица  
разрежут горло и живот.

3.

Здесь пронеслась коза лесная,  
галоп переменяв на рысь.  
Прыжками, быстрая и злая,

ее преследовала рысь.  
Коза ушла, как скрылась в воду.  
Пойди найди ее в лесу!  
И рысь распластанная сходу  
переключилась на лису.

4.

Лес — не идиллия — охота:  
вас убивать здесь не хотят,  
но всякой твари есть охота,  
и убивают, и едят!

### **МАРТ. КАПЕЛЬ**

Люблю капель в саду и в роще —  
снежинок первую купель.  
"Кап-кап! Кап-кап!" — поет капель,  
стараясь петь как можно проще.  
Сосульки падают в сугроб,  
и не застыли, не озябли:  
хлопочут — нижут каплю к капле,  
лопочут у набитых троп.

Рябина тонкая, как струнка,  
благословляет их полет.  
А как они съедают лед!  
А как полна под ними лунка  
и как прозрачна в ней вода!  
Все, что неискренно и ложно,  
капель снимает с нас, возможно,  
на время или навсегда.

Я с детства верю в эту воду.  
Спросите у любой звезды:  
такой небесной чистоты  
мир не дал даже небосводу.

А звук капли — цок да цок, —  
он переливной аллилуйи:  
звук медленного поцелуя  
и отзвук выстрела в висок.

Но это не самоубийство  
и не печаль, наоборот!  
Я под капель подставил рот  
и отрешился от витийства,  
от робости и суеты,  
от поклонения кумирам  
и звезды услышал над миром,  
и сам коснулся высоты!

Люблю и сердцем принимаю  
не переменчивый апрель  
и не грозу в начале мая,  
а в марте первую капель!



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

## МЕХАНИЗМ БЕЗУМИЯ

*К самоубийству Артура Кестлера  
Писатель о современном мире*

Как сообщило агентство ЮПИ, один из крупнейших политических писателей нашего времени Артур Кестлер утром 3 марта 1983 года был найден мертвым в своем лондонском доме. Там же была обнаружена мертвой его третья жена Синтия. Как установило вскрытие, оба покончили жизнь самоубийством. Оба были членами Ассоциации за право умереть с достоинством. Из сообщения ЮПИ следует, что Артур Кестлер уже несколько лет страдал лейкемией и болезнью Паркинсона. Он умер семидесяти семи лет.

Оценивая роль Кестлера в развитии современной политической мысли, мировая печать не поскупилась на похвалы в его адрес, называя его крупнейшим мыслителем современности, выдающимся интеллектуалом XX века. Но среди массы комментариев, вызванных его самоубийством, мы не находим или почти не находим серьезных попыток разобраться в том, кем же был на самом деле Артур Кестлер. Более того, мы не находим даже признаков глубокой опечаленнос-

ти смертью этого, может быть, одного из самых замечательных людей XX века. Итак, мир проводил Кестлера довольно спокойно и даже с некоторым холодком, что, конечно, можно объяснить противоречивостью творчества Кестлера, его совершенно необычной даже для нашего времени биографией и, в частности, его коммунистическим прошлым. Словом, можно найти достаточное количество обтекаемых фраз, способных создать видимость объяснения, но, разумеется, так и оставляющих без ответа центральный вопрос, отчего Кестлер всю жизнь пребывал в глубоком конфликте с окружающим миром? Общество — и это относится равно ко всем эпохам — уже давно приучено слышать из уст писателей мало-приятные вещи, а в XX веке нонконформизм стал настолько, привычен, что литератора, живущего в согласии с общепринятыми нормами, вообще ее принимают всерьез.

Однако нонконформизм, в который, как в модный костюм, облакают себя девяносто процентов литераторов (без него их просто не примут в приличном обществе) не имеет ничего общего с "феноменом Кестлера".

На протяжении всей его жизни Кестлера упрекали в нелюбви к человеку, в пессимизме, в эсхатологических представлениях. Эти упреки звучали так же нелепо, как нелепо выглядели бы обвинения ученого-естественника в том, что он не проявляет достаточной любви к предмету своего исследования, или рентгенолога в том, что увиденные им на снимке метастазы предрекают быстрый и трагический конец больному.

Кестлер смотрел на мир и современного человека трезвым, иногда жестоким взглядом исследователя, и в его блестящих социальных диагнозах не оставалось места для оптимизма. Он изучал не человека, а биологический вид человека и доказывал его обреченность, поскольку он страдает патологией, свойственной только ему одному. Он беседовал с больным о его неминуемой смерти и, кажется, единственной целью этих бесед было убедить больного в том, что у него нет никаких надежд.

Кестлер родился в 1905 году в Будапеште в еврейской

семье промышленника и неудачливого изобретателя. По окончании университета, он переехал в Вену, увлекся журналистикой и в качестве корреспондента венской газеты "Нейе Фрайе Прессе" уехал в Палестину и поселился в одном из кибуцов. Разочаровавшись в сионизме, он вернулся в Вену и вскоре принял участие в знаменитой экспедиции Умберто Нобиле, пытавшегося достигнуть на дирижабле северного полюса. В 30-х годах Кестлер вступил в коммунистическую партию и отправился в СССР, пробыл год в Москве и вскоре уехал в Испанию, на этот раз уже в качестве британского корреспондента, сражавшегося на стороне республиканцев. Во время военных действий он был схвачен властями Франко и, приговоренный к смертной казни, оказался в камере смертников. Его жизнь в этой камере послужила материалом для романов "Испанское завещание" и "Тьма в полдень". Чудом избежав смерти, Кестлер вернулся из Испании и, получив британское подданство, навсегда поселился в Лондоне.

## ТЬМА В ПОЛДЕНЬ

В 1966 году один мой знакомый дал мне прочитать ходящую в самиздате рукопись о тридцать седьмом годе, точнее, о последних месяцах жизни выдающегося революционера и героя гражданской войны Николая Залмановича Рубашова, оказавшегося в камере смертников на Лубянке. Когда я закрыл последнюю страницу, то оказался тотчас во власти необъяснимо-фантастического вопроса: как все это просочилось во внешний мир? Я задал этот вопрос и тому, кто дал мне рукопись, и получил ответ, который считаю необходимым привести дословно. Более убедительного подтверждения таланта Кестлера не может быть. Так вот, этот ответ звучал так: "Я слышал, что автор романа — какой-то венгр, который чудом бежал с Лубянки — как ему удалось бежать, не имею понятия".

Уже много позже я узнал что автором романа был Артур Кестлер. Но мой знакомый был более готов поверить в са-

мую невероятную на свете вещь — в побег с Лубянки, — нежели в то, что все прочитанное нами — это плод фантазии автора.

Из биографии Кестлера мы знаем, что он никогда не находился в подвалах НКВД и к середине тридцатых годов уже давно покинул Россию. Позже критики нашли некоторые неточности в описании камеры, где содержался Рубашов. (Узники Лубянки, например, не могли наблюдать, как тащат на казнь других заключенных.) Но похоже, все это ни малейшим образом не сказалось на убедительности романа, который был переведен на все языки мира и который настолько потряс Францию тех лет, что, по мнению современников, помешал коммунистам одержать победу во время предвыборной кампании.

Кто же такой Рубашов, главный герой Кестлера? Критики находили в нем черты Бухарина, Зиновьева, Радека, Пятакова. Многие сходились на том, что перед нами обобщенный образ, на примере которого автор раскрыл психологию сталинских жертв и таинственный механизм их признаний. Кестлер действительно, может быть, первый ответил на вопрос, который его современники называли загадкой века: как получилось, что вчерашние вожди и революционеры превратились в ничтожных кроликов, лижущих сталинский сапог? И все же значение романа куда шире и "загадка века" была лишь частью того, о чем первый сказал Кестлер. А сказал он о том, что современный большевизм функционирует не по законам политических течений и партий, а по преступным законам мафии. И то обстоятельство, что Николай Залманович Рубашов, бывший нарком, бывший командарм, бывший делегат партийных съездов, а ныне узник камеры № 404 НКВД предстает перед нами таким милым, таким образованным и интеллигентным человеком и что, несмотря на все его заслуги перед революцией, он оказывается в камере смертников, — все это не только не исключает сказанного, но, напротив, скорее подчеркивает зловещий характер большевистской мафии.

Отчего Рубашов бессилен перед своими мучителями и на допросах позорно капитулирует перед бритоголовым крети-

ном Глеткиным, который и не скрывает, что намерен отправить его на тот свет? Да потому, что он, Николай Залманович Рубашов, при всей своей интеллигентности вот так же безответственно расправлялся со своими ближайшими соратниками, с любимой женщиной — молча голосовал и отправлял на тот свет. Членам мафии не дано апеллировать ни к добру, ни к справедливости, ни к морали: ее преступный закон равно беспощаден для всех: сегодня умру я, завтра умрешь ты!

Недавно выпущенная нашим издательством книга Орлова "Тайная история сталинских преступлений" является как бы документальным свидетельством, подтверждающим написанное Кестлером. Разумеется, как каждому свидетелю, Орлову было что дополнить. На самом деле у убийц, кроме законов круговой поруки, согласно которым они чинили расправу, был и еще один козырь: дети их жертв, которых они превращали в заложников. Так были сломлены Бухарин, Пятаков, Каменев и многие другие, сломлены по законам мафии, механизм которой с такой художественной силой раскрыл Артур Кестлер.

О его писательском таланте говорят и другие его вещи. "Йог и комиссар", "Спартак", "Крестовый поход без креста", "Подонки общества", "Ночные воры", "Испанское заведение". Нет никакой возможности даже просто перечислить все художественные произведения писателя.

Но мне хочется обратиться к другому жанру — к публицистике Кестлера. Равного ему в этом жанре я просто не вижу в современном мире. Я коснусь лишь нескольких его статей, предоставив читателю судить самому, кого потерял мир в лице Артура Кестлера.

## ИУДА НА ПЕРЕПУТЬЕ

"Мученичество евреев тянется уродливым рубцом по лицу истории человечества. Возрождение государства Израиль дает — впервые за две тысячи лет — возможность решить еврейскую проблему. До сих пор судьба евреев находилась в руках

неевреев. Ныне она в их собственных руках. Странствующий жид оказался на распутье, и последствия выбора, который он сделает, дадут почувствовать себя в будущих веках", — этими словами Кестлер начинает одну из самых фундаментальных и самых спорных своих работ "Иуда на перепутье".

Для Кестлера, родившегося в еврейской семье и начавшего свою самостоятельную жизнь с поездки в Палестину, но никогда не ощущавшего себя евреем, еврейский вопрос был одним из самых тяжелых и болезненных. Будучи не в силах решить его, он был постоянно мучим сомнениями и не был готов к компромиссам. Его жесткий взгляд исследователя постоянно видел внутренние противоречия еврейства, из которых так и не нашел выхода современный сионизм. Крылатый девиз Герцля: "Если захотите — сможете", потерял для Кестлера всякий смысл. Евреи смогли создать свой национальный очаг, но его создание не исключило желания продолжать жить в диаспоре и оставаться избранным народом: Иуда так и остался на перепутье, хотя история неумолимо ставит вопрос о его будущем.

**"Утверждение, что иудаизм "такая же религия, как и все прочие", то есть частное дело, не имеющее ничего общего ни с политикой, ни с расой — либо лицемерно, либо противоречит само себе. Еврейская вера — самоизолирующая себя как в национальном, так и в расовом смысле. Она автоматически создает свое собственное культурное и этническое гетто.**

**В самом конце пасхальной трапезы евреи всего мира вот уже две тысячи лет поднимают бокал и произносят священный тост: "В будущем году в Иерусалиме!" Таким образом, еврейская религия постулирует не только национальное прошлое, но и будущее. В Декларации независимости еврейского государства, провозглашенной 14 мая 1948 года, сказано: "Изгнанный с земли Израиля еврейский народ сохранил ей верность во всех странах своего рассеяния, никогда не переставал молиться и надеяться на возвращение и на восстановление своей национальной независимости".**

**"Англичанин еврейского происхождения" — выражение, противоречащее само себе. Принадлежа к избранному народу, временно изгнанному с Земли Обетованной, он вовсе не английский еврей, а еврей, проживающий в Англии. Это относится не только к сионистам, а ко всем членам еврейской общины, которые, как бы ни относились к сионизму и Израилю, обязаны в силу религиозного своего ве-**

**роучения, считать себя принадлежащими к особому народу, у которого свое национальное прошлое и будущее".\***

**И далее Кестлер продолжает;**

**"Сама религия отгораживает еврея и подводит к тому, чтобы его обособляли и все остальные. Архаичный, племенной элемент, свойственный иудаизму, обуславливает антисемитизм на таком же архаичном уровне. Никакое просвещение, никакая терпимость, никакие возмущенные протесты и благочестивые увещания не в состоянии разорвать этот порочный круг.**

**"Антисемитизм — недуг, распространяющийся, по-видимому, по собственным законам: лично я считаю, что единственная фундаментальная причина антисемитизма заключается, какой бы это ни звучало тавтологией, в том, что евреи вообще существуют. Похоже, что мы сами разносим антисемитизм в своих котомках, куда бы мы ни попадали".**

**Это сказал покойный профессор Хаим Вейцман, первый президент возрожденного еврейского государства, подводя итог "крестного пути", длившегося двадцать столетий.**

**Рассчитывать на то, что в XXI веке он внезапно и сам по себе оборвется, значит пренебречь историческим и психологическим опытом, законом причины и следствия. Ему смогут положить конец только сами евреи".\*\***

Со времен разрушения храма евреи никогда не переставали молиться о восстановлении еврейского государства: "В будущем году в Иерусалиме!" Но вот, утверждает Кестлер, 14 мая 1948 года их молитва внезапно сбылась. А когда молитва сбывается, то логика требует, чтобы ее больше не повторяли. Но если молитвы такого рода не повторять, если исключить из еврейской религии тоску о возвращении на Землю Обетованную, то исчезнет сама основа и суть этой религии. Никакие препятствия, по словам Кестлера, не мешают верующему еврею получить визу в любом израильском консульстве и заказать билет в Израиль. Он должен теперь одно из двух: либо быть в будущем году в Иерусалиме, либо перестать повторять молитву, превратившуюся в бессмысленное бормотание.

В своей статье Артур Кестлер прежде всего рассматривает

\* The Trail of the Dinosaur and other Essays. — Collins St. James's Place, London, 1955.

\*\* Там же.

позицию подавляющего большинства современного еврейства, которое обнаруживает просвещенное или скептическое отношение к религии своих предков, но по ряду сложных мотивов, продолжает приобщать к ней своих детей, обрекая их на "исключительность", обусловленную этой религией. Именно этот тип "нечеткого" еврея, утверждает писатель, неспособного определить свое еврейство ни с этнической, ни с религиозной точки зрения, увековечивает парадоксальным образом еврейский вопрос.

Выход для "нечеткого" большинства, переросшего еврейский национализм и еврейскую религию, Кестлер видит в том, чтобы отказаться от того и другого и дать окружающей среде абсорбировать себя. Он сознает, однако, и то, сколь велико психологическое сопротивление, мешающее этому. Пружины этого сопротивления можно найти отчасти в общечеловеческом стремлении избежать вообще болезненного выбора. Не менее важными эмоциональными факторами служат здесь гордость духа, гражданское мужество, боязнь, как бы не обвинили в лицемерии и трусости. К этому примешиваются рубцы от ран, полученных в прошлом, нежелание расстаться с мистической судьбой, с особой еврейской миссией.

"Я совершенно согласен, — пишет Кестлер, — что психологически у евреев имеются все мыслимые основания быть чувствительными, нелогичными и щепетильными, как только речь заходит об отречении — хоть они и не способны отчетливо выразить, от чего, собственно, им так не хочется отречься. Но давайте согласимся также и с тем, что хоть любой и каждый имеет полное право поступать иррационально и в ущерб собственным интересам, он лишается этого права, когда оно задевает будущее его детей".

Вряд ли в новейшей истории кто-то, кроме Кестлера, отважился на столь неприкрытый и откровенный призыв к еврейской ассимиляции. И, естественно, этот призыв вызвал бурю протестов в еврейском мире, которые, пожалуй, наиболее широкое отражение нашли на страницах выходящего в Англии еврейского журнала "Джуиш Кроникл". Ниже я

хотел бы привести только два, может быть, наиболее интересных вопроса сотрудника журнала к Кестлеру и его ответы.

**В о п р о с .** А не подумали ли вы о том, что в поисках иллюзорной "нормальности" и безопасности отрекающееся еврейство пожертвует своим особым еврейским гением; и не кажется ли вам, что такая потеря еврейского наследия и еврейских талантов значительно перевесит, с человеческой точки зрения, в самом широком смысле этого слова все сомнительные выигрыши?

**О т в е т .** Спору нет, давление окружающей среды стимулировало появление интеллектуальных сил среди евреев в гораздо большей степени, чем у народов, среди которых они живут. Этот процесс "сверхкомпенсации" хорошо известен как психологам, так и историкам — в особенности рекомендую Адлера и Тойнби. Нам известно также, что у большинства великих людей — в литературе, искусстве, политике, религии — было трудное и одинокое детство, их не понимали, и своими творческими достижениями они частично обязаны именно этому давлению-стимулу.

Но стали ли бы вы рекомендовать родителям сознательно создавать своим детям несчастливое детство в надежде, что ребенок вырастет Эйнштейном, Фрейдом или Генрихом Гейне?

Конечно, если полностью устранить страдания в мире, то этим вы значительно уменьшите шансы появления выдающихся личностей. Но, в конце концов, из тысячи индивидуумов, выросших при нездоровом давлении среды, у 999 разовьется скверный характер и только один, может быть, станет выдающейся личностью. Я считаю совершенно неприемлемым и решительно отвергаю смутное еврейское чувство: "Мы должны и впредь подвергать себя гонениям, дабы производить на свет гениев".

**В о п р о с .** Скажите, вы сами еще считаете себя евреем? Или вы предпочитаете, чтобы вас больше не считали евреем?

**О т в е т .** Что касается религии, то в моих глазах Десять заповедей и Нагорная проповедь столь же неотделимы, как корни и цветок растения. Что же касается крови, то я не имею ни самонаименования — да вопрос этот меня нимало не интересует, — сколько древних евреев, вавилонцев, римских легионеров, крестоносцев и венгерских кочевников числятся среди моих предков. По-моему, это была чистой случайностью, что мой отец был еврейского вероисповедания. Вместе с тем, я чувствовал, что этот факт налагает на меня моральный долг отождествлять себя с сионистским движением, пока гонимые и бездомные не имели пристанища. Как только Израиль стал фактом, я почувствовал, что долг этот на мне больше не лежит и я волен выбирать: стать ли израильтянином в Израиле, либо европейцем в Европе. Все мое воспитание и культурная принадлежность привели к тому, что именно на Европу пал мой естественный выбор. Итак, чтобы дать

**точный ответ на ваш вопрос: я считаю самого себя прежде всего членом европейского общества, во-вторых, натурализованным гражданином Великобритании неопределенного и смешанного расового происхождения, признающим нравственные ценности и отвергающим догмы нашей эллинско-еврейско-христианской традиции. В какое такое птичье гнездо помещают меня другие, это уж их дело\*\***

Кто только не выступал в те дни против Кестлера — и выдающийся английский писатель и философ Исайя Берлин, и президент Англо-еврейской ассоциации, депутат британского парламента Монтегю и многочисленные читатели "Джуиш Кроникл". В чем только не обвиняли его на страницах еврейской да и не только еврейской прессы! И в призыве к покорной капитуляции меньшинства перед большинством, и в стремлении лишить еврейскую молодежь духовного воспитания, и в двурушничестве, и в предательстве собственного народа.

Думаю, что и сегодня большинство евреев диаспоры решительно отвергнут взгляд писателя, но не перестает меня удивлять, насколько односторонне была воспринята в те дни его совершенно бескомпромиссная позиция. Евреи, как и всякий другой народ, вправе отвергнуть любой обращенный к ним призыв отказаться от своей национальной сущности, их святое право — остаться самими собой. (В этом смысле трудно согласиться с призывом Кестлера.) Но они не могут не задуматься над ситуацией двойной лояльности, которую не дано избежать ни одному еврею в диаспоре. Готов он это признать или нет, но у него есть две родины — страна, в которой он живет, где родились его дети, с языком и культурой которой он кровно связан, и вторая — его духовная, национальная родина — Израиль.

Двойная лояльность всегда взрывоопасна. Это то, откуда возникли гитлеровские концентрационные лагеря и сталинский космополитизм, и "дело врачей"... Могут сказать, что это давно канувшие в Лету экстремальные ситуации. Но вспомним тогда дни недавние, когда израильские солдаты гибли в Ливане, а многие американские раввины призывали в си-

---

\* Там же.

нагогах молиться за жизнь палестинских детей, гибнущих от бомбежек израильской авиации.

Двойная лояльность не может не ставить евреев перед тяжелой моральной проблемой: если у них две родины, то какой они отдадут предпочтение в трудный час выбора? Если останутся верными Израилю, то не будут ли выглядеть "пятой колонной" в стране, где продолжают жить? Если поступят наоборот и поддержат страну проживания, то не изменят ли своей национальной родине? И наступит ли для них час душевного комфорта, когда они смогут избавиться от этой висящей над ними тяжким проклятием двойной бухгалтерии?

## ТРОПА ДИНОЗАВРА

Истоки драмы современного человечества Кестлер видит в его истории. Он исходит из воображаемой диаграммы, которая показывает головокружительный взлет могущества человека, сопровождаемый беспримерным падением его нравственности и веры.

Рубежом, который привел к изменению всего хода исторического развития, стали религиозные войны XVII века. После их окончания в мире возникло два, на первый взгляд, независимых друг от друга фактора: развитие национального сознания и распространение новой философии. Открытия Коперника, Галилея и Кеплера стали поворотной точкой — точкой, от которой религия и наука начали расходиться в разные стороны, чтобы с этих пор следовать разными путями. Божества прошлого стояли на более высокой ступени, чем сам человек. Новые вершители человеческих судеб — законы механики, атомы, железы, гены — постепенно перенявшие власть Бога, были уже рангом ниже самого человека.

Постепенно обнаруживались и последствия этого перемещения. До сих пор религии давали человеку ответы на все вопросы, которые придавали всему, что с ним происходило, характер абсолютной справедливости. Объяснения новой философии потеряли это значение. Пусть ответы прошлого были



непоследовательны, противоречивы, примитивны, суеверны, но они были тверды и окончательны, а главное — они удовлетворяли потребность человека в ободрении и защите в этом бесконечно жестоком мире. Новые ответы, как писал Уильям Джеймс, которого цитирует Кестлер, "сделали невозможным видеть в вихре космических атомов что-либо, кроме бесцельной грозы, которая налетает и проходит без всякого исторического смысла и не оставляя никаких следов".

XX век принес новый поворот, сопровождаемый кризисами не только в механике и астрономии, но по существу во всех науках: в космологии, биологии, генетике, психологии. Естественной науке пришлось признать, что она никогда не в состоянии предугадать последствия того или иного процесса, а абсолютное отсутствие веры вело в свою очередь к духовному ниспровержению — в темную, горячую ночь души.

Так выглядела пессимистическая модель мира, к которой Кестлер постоянно возвращался в своих многочисленных статьях и эссе. Однако для Кестлера-публициста был важен не столько ее метафизический смысл, сколько величайшая опасность для современного мира, которая из нее вытекала. В мире, где царит неверие и безнравственность, особенно велика угроза разрушительных сил, величайшая из них грядущая атомная война. В своей статье "Тропа динозавра", опубликованной в октябре 1955 года в журнале "Дер Монат" Кестлер исследует альтернативы, открывающиеся в связи с этим перед современным миром. При этом он менее всего верит в благие пожелания политиков и в разного рода международные соглашения. Послушаем, что же он говорил без малого сорок лет тому назад и не есть ли все сказанное им тогда предостережение людям 80-х годов.

**"Мы знаем сейчас, что атомная война равносильна массовому самоубийству человечества. Устранение угрозы атомной войны вполне желательно, но лежит за пределами возможного. Ибо запрещение атомного оружия могло бы быть эффективным лишь тогда, когда все стороны согласились бы на систему международного контроля, предусматривающую постоянные инспекции, а это означало бы отпирание всех замкнутых дверей секретных лабораторий, заводов, шахт и военных сооружений. Но такая процедура противоречит, с одной стороны, традициям тайной политики и недоверия, которых веками придержи-**

**вались Россия и азиатские государства; она противоречит, с другой стороны, основополагающим принципам и политической структуре всех диктаторских режимов — как коммунистических, так и некоммунистических.**

Если бы у нынешних правителей России даже появилась готовность подвергнуть себя эффективному международному контролю и постоянным проверкам, они так же мало могли бы себе это позволить, как, скажем, отмену цензуры, политической полиции, однопартийной системы и других существенных элементов диктатуры. Соображения о том, хороша ли та или иная диктатура или дурна, является ли она диктатурой рабочих, крестьян или зубных врачей; правит ли ею бюрократия или теократия,— лишены в этой связи какого бы то ни было значения.

Столь же лишено значения то, посредством каких ухищрений советское правительство увиливает от настоящего контроля и инспекций — процедурными ли кляузками, отклонением ли "нарушения национального суверенитета", "борьбой за мир" или призывами платонического осуждения атомного оружия, направленного, разумеется, только против той стороны, которая производит и испытывает свои бомбы гласно,

Я повторяю: ликвидация атомного оружия под эффективным международным контролем — вещь весьма и весьма желательная, но при существующем положении вещей столь же невозможная, каким было некогда всеобщее разоружение в покойной Лиге наций. Если исходить из этой реалистичной точки зрения, то перед Западом открыты три пути: либо развивать и впредь атомное оружие, вполне сознавая, какие опасности для человечества кроются в этом; либо отказаться от атомного оружия, вполне сознавая решающие преимущества, которые будут предоставлены этим противнику; либо же развязать "превентивную войну" (чистое противоречие "в себе"), исходя из предположения, что Запад все еще обладает решающим превосходством, что превосходство это, однако, убывает и что при нынешнем состоянии атомного исследования война была бы сейчас не менее разрушительной, чем лет через пять или десять, а то и — что она обеспечила бы миру, не разрываемому больше конфликтами, прочный мир.\*

Кестлер понимает, что размеры разрушений, которые были бы причинены человечеству превентивной войной, не поддаются подсчету. "Если даже исходить из недопустимого предположения, — пишет он, — что ради достижения цели можно не считаться с этическими соображениями и что приходится, ничего не поделаешь, жертвовать нынешним поколе-

\* "Der Monat", X, 1955.

нием ради поколений будущих — даже тогда превентивную войну нужно отбросить, так как обилие и сложность факторов слишком велики, чтобы человеческий мозг мог их обсчитать". Таким образом превентивная война, являющаяся, с одной стороны, как бы единственным выходом для Запада, на самом деле не может быть им использована как средство выхода из тупика. И совершенно иной подход Кестлер видит у правителей Советского Союза — чье вероисповедание, философия диалектического материализма не разделяет скептического отношения Запада к вычислительным способностям человеческого мозга. Поэтому он вовсе не исключает возможности того, что в известный момент, который покажется советскому режиму "исторически благоприятным", этот режим под каким-либо предлогом все-таки развяжет превентивную войну". При этом вопросы, сочтут те или иные члены политбюро желательным развязать войну через шесть месяцев или лет, убеждены ли они в неизбежности установления мирового коммунистического господства без всякой войны или не убеждены, — для него не главные. Главной же опять является философская, мировоззренческая сторона проблемы.

**"Тут главным является то, что их мировоззрение и система их нравственного отношения к проблеме войны иные, чем наши. Запад не обладает единым мировоззрением, но у него есть старая, преемственная традиция, которая — более или менее явно, более или менее осознанно — пронизывает мышление правителей и народов и ограничивает свободу действия первых. Для вождей же противной стороны таких ограничений не существует ни со стороны философии, которой они придерживаются, ни со стороны механизма демократического контроля над их действиями. Это неравная борьба, в которой одна сторона верит в свою историческую миссию, оправдывая решительно все средства, в том числе и войну, а вторая сторона — нет; в которой одна сторона связана известными правилами игры, а вторая — нет.**

Это различие должно всегда быть на виду у всех ответственных политических деятелей как правых, так и левых, и обуславливать их решения, малые и большие. С точки зрения психологической это, правда, нелегкая задача, так как тактические флуктуации советской политики, временные спады напряжения на поверхности и столь частые промахи американских политических деятелей замутняют и затемняют эти основные мировоззренческие различия. Выдавать желаемое за действительное — это, конечно, куда как удобно, но в то же время де-

**шевые фразы и соблазнительный путь наименьшего сопротивления постоянно уменьшают шансы Запада выжить."**\*

## ПОЛИТИЧЕСКИЕ НЕВРОЗЫ

Главную ошибку современного мира Кестлер видит в том, что мир этот предается нелепым иллюзиям в своих оценках человека как политически разумного существа. Бесконечные войны, массовые истерии и массовая ненависть, которые мы наблюдаем в новейшей истории, обнаруживают у целых народов склонность к неразумному поведению.

Между тем все методы, которыми управляют сегодня демократические государства, основаны на молчаливом допущении, что их граждане являются политически разумными существами. И эта догматическая и ни на чем не основанная вера является в конечном счете причиной, из-за которой демократический мир в своем единоборстве с противостоящим ему миром тоталитарным занимает оборонительную позицию и не только в физическом, но и психологическом отношении.

Противоборство двух миров — тема многих эссе Кестлера. "Политические неврозы" были написаны им в 1953 году. Но Кестлера интересует здесь не актуальная политика того времени. Его, как всегда, занимают общие закономерности жизни окружающего мира. Поставить социально-психологический диагноз и вскрыть механизм охватившего этот мир сумасшествия — вот в чем видит Кестлер свою философскую и нравственную задачу.

И он актуален сегодня, спустя тридцать лет, не потому, что обладал неким магическим даром предвидения (социальная прогностика занимала его меньше, чем что-либо), но потому, что он обладал непревзойденным даром выводить из совершенно обыденных фактов жизни некие социальные закономерности и политические законы, которые сохранили свое значение вплоть до наших дней. Менялись лидеры, менялась

\* Там же.

политика, но те же оставались закономерности. Казалось бы, все написанное Кестлером и по сей день должно быть предметом неослабевающего интереса для тех, кто формирует политику в современном мире. И, если Кестлер в этом мире так часто предается забвению, то это говорит лишь о его правоте в оценках тяжело больного современного общества, не способного оценить нависшей над ним угрозы.

**"Все указывает на то, что человек двадцатого века — политический невротик. Сторонники тоталитарного режима поняли это с самого начала. Они готовят смерть и гибель нашей цивилизации. Так как смерть питается недугами, то ей поневоле приходится быть хорошим диагнозом. Если же мы хотим выжить, то и нам необходимо научиться ставить правильные диагнозы. Между тем правильного диагноза не поставишь, если априори исходить из предположения, что пациент здоров. Эту веру в политический разум отдельной личности прививали нам многие французские, немецкие и английские философы — энциклопедисты, марксисты, бентамисты, оуэнисты — те, кто верил в прогресс всех мастей.**

**Зигмунд Фрейд и его последователи частично разрушили эту оптимистическую веру в человека как разумное существо. Мы без возражений принимаем сегодня тот факт, что наше сексуальное либидо закрепощено и искажено. Пора понять, что и наше политическое либидо не в меньшей мере загнано внутрь, извращено и заряжено комплексами."**\*

В газовых камерах Освенцима, Бельзена и других лагерей уничтожения, пишет Кестлер, было истреблено к концу второй мировой войны около шести миллионов евреев. Во всей полноте эта правда так и не вошла в сознание немецкого народа и, пожалуй, никогда туда не проникнет: уж слишком она ужасна, и ей просто невозможно смотреть в глаза. Поэтому многие интеллигентные немцы, не лишённые к тому же и доброй воли, когда в их присутствии говорят об Освенциме или Бельзене — реагируют железным молчанием. На их лицах, по словам Кестлера, появляется такое же оскорбленное выражение, какое появлялось у английской леди викторианской эпохи, когда в ее присутствии внезапно произносилось слово "секс": она ни под каким видом не готова понять и согла-

\*"DerMonat", XII, 1953.

ситься с тем, что, как ни крутись, а секс все-таки существует и никуда от этого факта не денешься.

Самое любопытное, продолжает Кестлер, что неосознанный комплекс вины проявляется и у тех, кто никакого — ни прямого, ни косвенного — участия в убийствах не принимал, то есть у большинства немцев, и возложить коллективную ответственность на целую нацию было бы несправедливо ни с нравственной, ни с юридической точки зрения.

**"Однако у "политического подсознания" совсем иной подход к проблеме. Оно автоматически принимает на себя коллективную ответственность как за победы, так и за поражения нации, приписывает себе как честь, так и позор. Главная особенность политического либидо как раз и состоит в склонности отождествлять свою собственную личность с нацией, племенем, церковью или партией...**

**Если это неосознанное стремление к отождествлению себя с какой-либо социальной группой приводит к приятным результатам, то они охотно допускаются в сознание: каждый немец гордится "нашим Гете", словно тут есть и его личная заслуга, каждый американец с удовольствием говорит, например, о Войне за независимость, будто он лично принимал в ней участие. Менее приятные результаты этого отождествления себя с целым занимают не столь почетное место в сознании того или иного лица. Те же, которые могут вызывать травматический шок, нужно немедленно предать забвению и вытеснить вон. Наш Гете, наш Бетховен, моя Родина — все это неотъемлемая часть "я", но наш Освенцим, наши газовые камеры, наша захватническая война — все это следует гнать от себя прочь".\***

Этот феномен невротического сознания Кестлер называет вытесненным чувством вины и противопоставляет ему коллективную амнезию, которая столь ярко проявилась у французов в годы второй мировой войны. Несмотря на поражение в начале войны, при молчаливом и всеобщем согласии нации, здесь была создана легенда о никогда не побежденной, а наоборот, — победоносной Франции. Затем возвели эту легенду в символ веры. Из упомянутой легенды делается вывод, что Франция никому и ничего не должна была в прошлом, а потому она не будет никому должна и в будущем. И если во Францию направляют воинские части и оружие, то лишь в интересах американского империализма.

\* Тем же.

"Единственная память об американцах во время войны, сохранившаяся без искажений до наших дней, относится к нередким попаданиям бомб не в цель, а во французские города, что, конечно же, вызывало разрушения и жертвы. И еще к тому, что американские бойцы частенько напивались и охотно обменивали сигареты на мимолетную женскую ласку. А потому: не надо нам больше освобождения по-американски! Оставьте нас, ради Бога, в покое! Не надо нам ваших подачек, вашей кока-колы и ваших атомных бомб! Если только вы останете от нас, отстанут и русские! Во французских газетах решительно всех мастей можно познакомиться с бесчисленными вариациями все той же темы.

Одно лишь обстоятельство никогда не упоминается, а именно тот трагический и решающий факт, что физическое выживание Франции зависит от американского запаса атомных бомб. Если принять во внимание это решающее обстоятельство, то все фиктивное здание рухнет, как карточный домик. Если же из мира, построенного на желаниях и страхе, убрать эти иллюзорные элементы, то останется, увы, один лишь страх, невыносимый, загнанный внутрь, страх за Европу, дрожащую, практически без какой бы то ни было защиты, перед русской угрозой". \*

Повторяю, это было написано не в 1983 году, а тридцать лет назад. По мнению Кестлера, одной из самых характерных особенностей невротического поведения является неспособность больного извлекать уроки из пережитого опыта. Над ним тяготеет какое-то проклятье, и он снова и снова попадает все в те же запутанные ситуации, совершает всегда одни и те же ошибки. Существует азбучная истина, что "история неизменно повторяется", так вот за этой азбучной истиной скрываются неисследованные силы, соблазняющие человека повторять свои ошибки. И снова Кестлер словно говорит о нашем времени, словно препарировывает ситуацию, возникшую в современном мире в результате политики так называемого детанта.

"Наглядным примером этой мании повторять ошибки является политика умиротворения: нежелание видеть то, что агрессивная держава, верящая еще и в свое мессианское назначение, будет стремиться все к новой экспансии, как только почувствует политический вакуум; что улучшение социальных условий, при всей важности этого для внутренней устойчивости страны, все же не является гарантией от нападения извне; что цена, которую приходится платить за выживание,

---

\* Там же.

составляет очень высокую долю национального дохода, которую на протяжении, увы, очень долгих лет, приходится расходовать на цели обороны; наконец, что задабривание противника и политика умиротворения, как бы убедительно ни звучали доводы ее сторонников, никак не может заменить военную мощь, а, наоборот, может лишь стать прямым приглашением к нападению, — все, весь этот столь болезненный урок тридцатых годов, казалось, должен быть еще свежим в нашей памяти. И тем не менее, похоже, что поразительно много политических деятелей (не говоря уже о миллионах обывателей) твердо решили снова совершить абсолютно те же ошибки и пережить еще раз точно такую же трагедию". \*

## ЧЕЛОВЕК — ОШИБКА ЭВОЛЮЦИИ

Мои встречи с Кестлером были всегда неожиданными и ошеломляющими и, может быть, поэтому они западали в память на всю жизнь. В 1966 году, как я писал уже, мне попала рукопись о последних днях жизни большевика Рубашова в камере на Лубянке. Это оказался роман Кестлера "Тьма в полдень". Другая с ним встреча была еще более фантастична — в кабинете главного редактора "Литературной газеты" Чаковского, когда он вызвал к себе зав.отделом науки Володю Михайлова и устроил ему один из многочисленных разносов. Это была типичная сцена в стиле Чаковского — с истерикой, с топанием ног, с криками: "Вы хотите погубить газету!" Он размахивал перед носом Михайлова журналом "Нью-Йорк Таймс Мэгэзин" и никак не мог успокоиться. "Вы знаете, кто такой Кестлер? И с ним, с Кестлером, берется полемизировать этот ваш ученый недоумок? Вы просто хотите из меня сделать идиота! Или вы думаете, в ЦК уже ничего не понимают?" Материал был немедленно снят из номера и отправлен обратно в отдел науки. Оказалось, что эта была статья Артура Кестлера "Человек — ошибка эволюции", предназначенная для тринадцатой полосы, где под широко известной в "Литературке" рубрикой "Полемика" печатались статьи западных ученых и рядом — ну как бы для опровержения — шли публикации их советских коллег.

---

\* Там же.

Длинные, наукообразные статьи советских авторов, разумеется, интереса не представляли. Poleмика нужна была исключительно для того, чтобы познакомить советских читателей с социально-политическими воззрениями западных авторов. Все описанное выше произошло после того, как хотели предоставить слово Артуру Кестлеру, — нет, не политическому писателю (в редакционном врезе было указано, что он давно уже сполз на воинствующе-антисоветские позиции), а публицисту и социологу. В статье, оказавшейся теперь в "литгазетском самиздате" не было ни слова ни о партии, ни о социалистической системе, ни о советском человеке — в ней шла речь о человеке вообще, и о некоторых конструктивных погрешностях, допущенных его создателем, точнее о последствиях этих погрешностей, которые вынужден пожинать современный мир.

Если для Маркса человек выступал как воплощение разума, а войны, революции и идеологии Маркс объясняет как результат поступательного движения истории, то Кестлер подошел к той же проблематике с совершенно другой стороны. Его, кестлеровский homo sapiens предстает перед нами прежде всего как существо, в природном механизме которого допущен конструктивный просчет, ему-то человечество и обязано параноидными тенденциями, которые прослеживаются в его истории.

Эволюция, утверждает Кестлер, совершила бесчисленное множество ошибок, на каждый существующий вид приходится сотни вымерших, список ископаемых животных — это мусорная корзина, куда Верховный конструктор сваливает отвергнутые варианты. Так вот, вовсе не исключено, что человек — это жертва просчета создателя, прежде всего в организации нервной системы, которая способствует развитию маниакальных идей, толкающих его на самоуничтожение.

Кестлер выдвигает перед нами нейрофизиологическую гипотезу, вытекающую из так называемой теории эмоций, предложенной Папеем и Мак-Лином, и приводит следующую выдержку из статьи Мак-Лина, написанную им для "Журнала нервных и психических заболеваний".

**"Человек находится в трудном положении. Природа наделила его тремя мозгами, которые, несмотря на полнейшее несходство, должны совместно функционировать и быть в постоянном контакте друг с другом. Древнейший из этих мозгов по сути своей — мозг пресмыкающегося. Второй достался ему от низших млекопитающих, а третий — достижение высших млекопитающих, именно он сделал человека человеком. Выражаясь фигурально, нетрудно вообразить, что, когда психиатр предлагает пациенту лечь на кушетку, он тем самым укладывает рядом человека, лошадь и крокодила".\***

Давайте заменим отдельного пациента всем человечеством, а больничную койку — аренной историей, предлагает Кестлер, и мы получим драматическую, но по существу правдивую картину.

**"Мозг пресмыкающегося и мозг простейшего млекопитающего образуют так называемую вегетативную нервную систему, которую для простоты изложения мы будем называть старым мозгом, в противоположность неокортексу — чисто человеческому "мыслительному аппарату", куда входят участки, ведающие языком (речью), а также абстрактным и символическим мышлением.**

Неокортекс человекообразных развился в последние полмиллиона лет, начиная с середины четвертичного периода, он развился со скоростью взрыва, насколько нам известно, беспрецедентного в истории эволюции. Однако взрывы не ведут к гармоническим последствиям. Результатом всего этого и явилось то, что новые участки мозга не сжились как следует с другими, филогенетически более старыми; эволюционный промах создал широкий простор для всевозможных конфликтов.

Мак-Лин ввел термин "шизофизиология" для обозначения этого опасного положения вещей в нашей нервной системе. Он определил его как "дихотомию" в функционировании старого и нового кортексов, именно этой дихотомии мы и обязаны несоответствием между нашим эмоциональным и интеллектуальным поведением.

**Грубо говоря, эволюция схалтурила, недовинтив какие-то гайки между неокортексом и мозжечком".\*\***

Однако все это не есть еще главное, что, по мнению Кестлера, объясняет бедственное положение человека. Главное — это то, что делает его существом слабым, легко подвергаемым всякого рода внушениям, массовым психозам и воздей-

\* "New York Times Magazine", 1969.

\*\* Там же.

ствиям всякого рода идеологий. Вот тут-то мы и подходим к пункту, который делает Кестлера совершенно неприемлемым для марксизма — более того, — который делает его опасным для сторонников всякого рода идеологических догматов.

Причины бедственного положения современного человека, по мнению Кестлера, восходят к доисторической эпохе. Он объясняет его состоянием длительной зависимости новорожденного от родителей, а также зависимостью от более быстрых и сильных товарищей по охоте, существовавшей еще среди ранних плотоядных человекообразных. От этого, может быть, и развилась, утверждает Кестлер, наша племенная солидарность с ее столь пагубными в дальнейшем последствиями. Все это, по мнению Кестлера, оказало влияние на процесс формирования человека как лояльного, преданного и общительного существа, каким мы его и знаем. Беда лишь в том, что эволюция "сработала чересчур хорошо и произошел перелет дальше самой цели".

**"Привязанности, выкованные ранней беспомощностью и взаимозависимостью, развились в те или иные формы крепостничества — в семье, клане или племени. Беспомощность человеческого детеныша оставляет пожизненный след; быть может, именно в ней отчасти и заключается причина готовности человека подчиниться власти, которую присваивают отдельные лица или группы, его приверженности доктринам и заповедям, его неодолимого стремления принадлежать к племени или нации, отождествлять себя с ними, а главное — с их системой взглядов."**\*

И тут мы снова сталкиваемся с упомянутым уже выше "феноменом Кестлера", когда он не просто говорит обществу неприятные вещи, но блестяще доказывает, что эти шокирующие публику "нонсенсы" заключены в самой природе человека. Кестлер ничего не говорит ни о гитлеровской, ни о сталинской, ни вообще о какой-либо тоталитарной идеологии — он объясняет нам причины войн и революций, он говорит, что в основе бедственного положения человека лежит не его агрессивность (что не переставали утверждать многочисленные философы прошлого века), а диалектика возникновения групп и неукротимая потребность человека отождествлять

\* Там же.

себя с группой и подчиняться ее требованиям с энтузиазмом и некритически. Человек так же подвержен влиянию лозунгов и символов, как инфекционным заболеваниям.

Не отсюда ли безграничная любовь "гитлерюгенда" к обожаемому фюреру? Не отсюда ли китайские хунвейбины, еще недавно так самозабвенно распевавшие слова председателя Мао? Не отсюда ли восторженная любовь миллионов к великому вождю всех времен и народов? Не отсюда ли все еще живущая вера в идеалы самого справедливого коммунистического общества?

В современном, даже демократическом, обществе все труднее говорить о человеке, как о высшей ценности, как о первоистине, ибо само понятие истины, замутненное национальными и идеологическими предрассудками, оказывается вывернутым наизнанку и лишенным общечеловеческого содержания.

Не только американское общество, но весь мир разделен сегодня на противостоящие друг другу национальные и идеологические кланы. Вступая в эти кланы, объединяясь под священные знамена партий и идеологий, мы часто даже не отдаем себе отчета в том, что ищем спасения в страхе оказаться одинокими перед лицом жестокости, лжи и насилия.

И, может быть, эта самая зловещая иллюзия нашего времени — в любой идеологии человек никогда не был и не будет самоценностью, а только лишь средством, а только лишь материалом, который ради мертвых догм в любое время может быть выброшен на свалку истории. Идеология во имя своего утверждения и победы готова на все, и сколь бы ни были благородны ее задачи, она не может обойтись без жертвоприношений.

...Мы не знаем, о чем думал Кестлер, когда 3 марта 1983 года в своем лондонском доме принял чрезмерную дозу снотворного. О том ли, что лейкомия и болезнь Паркинсона делает бессмысленной его дальнейшую жизнь? Или о том, что бессмысленным становится само существование человека, за которым остается лишь право с достоинством умереть в этом охваченном безумием мире?



# ЭРМИТАЖ

В 1983 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

|   |       |
|---|-------|
| АВЕРИНЦЕВ, Сергей. "Религия и литература". (143 с, статьи)            | 7.00  |
| АКСЕНОВ, Василий. "Аристофаниана с лягушками". (Пьесы, 380 с.)        | 11.50 |
| АКСЕНОВ, Василий. "Право на остров". (Рассказы, 180 с.)               | 6.50  |
| АРАНОВИЧ, Феликс. "Надгробие Антокольского". (180 с, 80 илл.)         | 9.00  |
| АРМАЛИНСКИЙ, Михаил. "После прошлого". (Стихи, 110 с.)                | 5.50  |
| БРАКМАН, Рита. "Выбор в аду". (О творч. Солженицына, 144 с.)          | 7.50  |
| ВАЙЛЬ, Петр. ГЕНИС, Александр. "Современная русская проза". (192 с.)  | 8.50  |
| ВИНЬКОВЕЦКАЯ, Диана. "Илюшины разговоры". (145 с, 50 илл.)            | 7.50  |
| ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. "Стихотворения". (160 стр.)                        | 8.00  |
| ГИРШИН, Марк. "Убийство эмигранта". (Роман, 145 с.)                   | 7.00  |
| ГУБЕРМАН, Игорь. "Бумеранг". (Стихи. 120 с. Рис. Д. Мирецкого)        | 6.00  |
| ДОВЛАТОВ, Сергей. "Зона". (Повесть, 128 с.)                           | 7.50  |
| ЕЗЕРСКАЯ, Белла. "Мастера". (Сборн. интервью. 15 илл.)                | 8.00  |
| ЕЛАГИН, Иван. "В зале Вселенной". (Стихи, 212 с.)                     | 7.50  |
| ЕФИМОВ, Игорь. "Архивы Страшного суда". (Роман, 320 с.)               | 10.50 |
| ЕФИМОВ, Игорь. "Как одна плоть". (Роман, 120 с.)                      | 6.00  |
| ЕФИМОВ, Игорь. "Метаполитика". (250 с.)                               | 7.00  |
| ЕФИМОВ, Игорь. "Практическая метафизика". (340 с.)                    | 8.50  |
| ЗЕРНОВА, Руфь. "Женские рассказы". (160 с.)                           | 7.50  |
| КОГАН, Эмиль. "Соляной столп". (Полит, психология Солженицына.)       | 14.00 |
| КОРОТЮКОВ, Алексей. "Нелегко быть русским шпионом". (Роман, 140 с.)   | 8.00  |
| ЛЕЙТМАН, Игорь. "Контурь лучших времен". (128 с.)                     | 7.00  |
| ЛУНГИНА, Татьяна. "Вольф Мессинг — человек-загадка". (270 с, 15 илл.) | 12.00 |
| МИХЕЕВ, Дмитрий. "Идеалист". (Роман, 224 с.)                          | 8.50  |
| НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. "О синтезе в искусстве". (Альбом, 60 илл.)        | 12.00 |
| ОЗЕРНАЯ, Наталия. "Русско-английский разговорник". (170 с.)           | 9.50  |
| ПАПЕРНО, Дмитрий. "Записки московского пианиста". (208 с, 20 илл.)    | 8.00  |
| ПОПОВСКИЙ, Марк. "Дело академика Вавилова". (280 с, 20 илл.)          | 10.00 |
| РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Бунт подсолнечника". (Роман, 240 с.)               | 8.50  |
| СВИРСКИЙ, Григорий. "Прорыв". (Роман, 560 с.)                         | 18.00 |
| СУСЛОВ, Илья. "Рассказы о т. Сталине и других товарищах". (140 с.)    | 7.50  |
| СУСЛОВ, Илья. "Выход к морю". (Рассказы, 230 с.)                      | 8.50  |
| УЛЬЯНОВ, Николай. "Скрипты". (Статьи, 230 с.)                         | 8.00  |
| ЧЕРТОК, Семен. "Последняя любовь Маяковского". (128 с.)               | 7.00  |
| ШТУРМАН, Дора. "Земля за холмом". (Статьи, 256 с.)                    | 9.00  |

Заказы отправлять по адресу:

HERMITAGE, 2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

К сумме чека добавьте 1.50 дол. на пересылку (независимо от числа заказываемых книг). При покупке трех и более книг — скидка 20%.

Б АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

## ПЛАТА ЗА ПРЕДАННОСТЬ

1

Осенью 1948 года у моего отца — в те дни ответственного работника Госиздата — случилось нервное расстройство. Произошло это при довольно странных обстоятельствах: вернувшись из Подмосковного санатория, отец перестал спать, осунулся, в ответ на наши с матерью расспросы отмалчивался, пока в один из вечеров, когда мы остались наедине, не поделился случившимся. По словам отца, со дня на день его могли арестовать; участь, которая миновала его в 1937 году, должна была настичь его теперь, десять лет спустя. Отец рассказал, как будучи в санатории, он сдружился с соседом по палате — очень симпатичным пожилым человеком, как вечерами, оставшись наедине, они говорили о жизни и литературе, как вспоминали любимых писателей. И вот однажды вечером отец к слову упомянул Бруно Ясенского, которого очень любил и даже несколько раз слышал в начале тридцатых годов. Услышав имя Ясенского, сосед изменился в лице. Да знаете ли вы, кто он такой? Он же враг народа! Вы защищаете врага народа!

Наутро сосед из санатория исчез, оставив отца наедине с охватившими его мрачными предчувствиями. Его не арестовали — ни в ту осень, ни позже. Бруно Ясенского он никогда больше не упоминал, зато я, в те дни студент факультета журналистики — имя это запомнил. То ли потому, что с ним была связана едва не обрушившаяся на нашу семью трагедия, то ли потому, что заинтриговала меня сама его личность, каким же коварным "врагом народа" надо было быть, чтобы одно упоминание о нем было сопряжено с опасностью ареста. Я читал Ясенского все что попадалось — романы, пьесы, поэмы. И чем больше читал, тем более поражал меня этот человек, этот полубезумный поэт и идеалист, объявленный врагом народа и уже в тюрьме написавший такие стихи.

**Герольд коммунизма бессмертных идей,  
Прославивший дней наших великолепье,  
Лежу за решеткой, как враг и злодей  
Может ли быть положенье нелепей?!**

**Над миром бушует войны суховей,  
Тревожа страну мою воем гнусавым  
Но мне, заключенному в каменный саван,  
Не быть в этот миг средь ее сыновей.**

**Я слышу биенье сердец Днепротеса  
В стальных проводах, еле зримых, как нити.  
Я слышу про выплавки новый прогресс  
Поют грохоча вагонетки Магнитки.**

.....  
**Шагай моя песня, в знаменном строю,  
Не плачь, что так мало с тобою пожил  
Бесславен наш жребий, но раньше ли позже ли  
Отчизна заметит ошибку свою.**

Из тюремной камеры, раздавленный и приговоренный, он не замечает трагедии, охватившей страну, а лишь слышит "биенье сердец Днепротеса" и клянется в преданности Родине-

матери. Поэт поет хвалу своим палачам: особый, неведомый истории психологический феномен, рожденный тридцать седьмым годом.

Через всю историю советской литературы проходит плеяда подобных Бруно Ясенскому трагических безумцев, погибших за свою неоглядную преданность социалистической Родине: Мейерхольд, Артем Веселый, Михаил Кольцов, Сергей Третьяков, Перец Маркиш... Из более чем шестисот умерщвленных писателей, я думаю, их было абсолютное большинство. И придет, может быть, время, когда о каждом будет написано. Должно быть написано — в назидание потомкам, чтоб знали, сколь бездонно трагически судьбы этих расстрелянных идеалистов, сколь бездонно уродливы гримасы, коим оказалась подвластна их раздавленная злом душа.

## 2

А пока расскажем о писателе-интеллигенте и писателе-рабочем — о Бруно Ясенском и Артеме Веселом и о нашей почти современнице Ольге Берггольц. Не буду более рассуждать, чтобы не притуманить картину — одни только факты. Итак, кто они? Откуда взялись и кем они были — эти люди, нареченные тридцать седьмым годом "врагами народа"?

Бруно Ясенский, чье настоящее имя — Виктор Яковлевич Ясенский, родился 17 июля 1901 года в селе Климонтове, Сандомирского уезда, Родомской губернии. В 1922 году кончает Краковский университет и объявляет себя борцом против религии, буржуазного общества и его морали. И в самой первой своей поэме "Песня о голоде" призывает к социальной революции. Двадцать третий год — вступает в литературную группу "Три залпа" — объединение революционных писателей Польши. Двадцать четвертый год — редактор полуправительственной коммунистической газеты "Рабочая трибуна". Двадцать пятый год — эмигрирует в Париж, вступает в Коммунистическую партию Франции, становится профессиональным революционером. В 1928 году — в ответ на антисоветский памфлет профашистского писателя Морана "Я жгу



Москву" пишет фантастический роман-памфлет "Я жгу Париж", затем переезжает в СССР, становится секретарем международного объединения рабочих писателей. В 1933 году выходит в свет его знаменитый роман "Человек меняет кожу" — о социалистическом переустройстве Таджикистана, а затем антифашистские новеллы "Мужество", "Главный виновник" и, наконец, антифашистский роман "Заговор равнодушных", работу над которым прерывает арест.

А вот и другой "враг народа" — Артем Веселый; тот же конец в камере на Лубянке и то же безумство преданности кровавой революции и ее вождям. И опять — только факты, факты на суд историкам.

Артем Веселый, чье настоящее имя Николай Иванович Кочуров, родился в семье грузчика 29 сентября 1899 года. В 1917 году вступает в РКП (б) и вскоре добровольно идет на Деникинский фронт, затем — матрос Черноморского флота, сотрудник ВЧК. В 1919 году выходит его первая революционная поэма "Разрыв-трава". И все дальнейшее — о бурях Октября и гражданской войны: пьеса "Мы", романы и повести "Дикое сердце", "Страна родная", "Россия, кровью умытая", "Гуляй Волга"...

Ни тот, ни другой не забыты — ни Бруно Ясенский, ни Артем Веселый. О каждом — справка в советской Литературной энциклопедии и в заключение одна и та же канцелярская эпиграмма: "Незаконно репрессирован, посмертно реабилитирован". Кто может сказать, что они забыты?! Свершился суд истории, правда восторжествовала!

Нам, людям 80-х годов, по-видимому, уже многое не понять. А свидетелей не осталось, почти не осталось: тем, кого бросили в камеры, не было пути обратно. Выжили редчайшие, они вернулись и рассказали. Не все, — лишь малую толику, но это были свидетельства, неповторяемые и невозможные, и по долгу живых мы обязаны к ним обратиться.

## 3

В конце 80-го года в журнале "Время и мы" были опубликованы отрывки из дневников Ольги Берггольц, которые она вела с 1932 года по день своей смерти, по 13 ноября 1975 года. В эти несколько общих тетрадок, с которыми она никогда не расставалась, она записывала то, что не могло увидеть света. И период ареста длиной в 171 день, с 13 декабря 1938 года по 3 июля 1939 года, естественно, также нашел отражение. Я снова прерываю свое эссе и предоставляю слово Ольге Берггольц, талантливой и безумной жертве трагической эпохи.

"Ровно год назад я была арестована. Ощущение тюрьмы сейчас, после пяти месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. И именно ощущение, то есть я не только реально чувствую, обоняю этот тяжелый запах коридора из тюрьмы в Большой Дом, запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное чувство посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы. Да, но зачем меня подвергали все той же муке? Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи... И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание... Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: "живи".

Вот так же, я думаю, могли свидетельствовать сотни погибших в те годы. Но даже там, в тюрьме, они хранили молчание или слагали песни палачам, опьяненные своим безумством преданности. Не к ним ли обращаясь, писала в своих дневниках Ольга Берггольц: "Товарищи, родные мои, прекрасные мои товарищи, все, кого я знаю и кого не знаю, все, кто ни за что томится сейчас в тюрьмах в советской стране. Я с вами, все честные и простые люди: вас миллионы тех, кто честно и прямо любит свою родину, с поднятой головой и открытыми устами... я буду до гроба верить мечте нашей — великому делу Ленина, как бы трудно оно ни было".

Проза кажется Ольге Берггольц недостаточной, слишком слабой для того, чтобы выразить ее чувство великой преданности своей родине, делу великого Ленина.

**Плакала и пела неустанно  
Сердцем плакала и пела я  
Нашу песенку о дальних странах  
Заучила камера моя...**

.....  
**Вот как пели, вот как мы ходили,  
Руки онемевшие сомкнув,  
Кек бесстрашным сердцем полюбили  
Нашу неизвестную страну.**

**Разве знала я, что это будет,  
Что простую песенку мою  
Запоют измученные люди,  
С горестной отвагой запоют.**

**Только что же? Если в этих стенах  
Зазвучали милые слова,  
Значит, нет ни страха, ни измены,  
Значит, наше Родина жива.**

Вот какие чувства переполняли душу Ольги Берггольц после всего пережитого ею. Это был уже тридцать девятый год, а потом пришел сороковой и сорок первый и все последующие. На "Архипелаге ГУЛАГе" умирали миллионы, а писатели-рабы — не убитые, уцелевшие (об убитых успели забыть!) в пароксизмах преданности слагали песни о самой юной прекрасной стране, где человек проходит как хозяин и где люди рождены, чтоб сказку сделать былью... И все это происходило не в средние века, а в нашу эпоху, в наш равнодушный век при молчаливом согласии миллионов равнодушных людей.

Одну из своих книг, написанных в 1937 году, Бруно Ясенский предваряет широко известным эпиграфом — словами

Роберта Эберхардта из "Царя Питекантропа Последнего": "Не бойся врагов — в худшем случае они могут убить тебя. Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство".

## 4

13 мая 1956 года газеты сообщили о трагической гибели генерального секретаря Союза писателей СССР, члена ЦК КПСС Александра Александровича Фадеева. Не по рангу скромный для члена ЦК некролог подтверждал мгновенно раснесшийся по стране слух: Александр Фадеев покончил жизнь самоубийством.

Повторяю, это был май 1956 года, всего два месяца спустя после XX съезда партии, который приоткрыл перед ошеломленным миром правду о преступлениях Сталина. В те дни не было ни молчащих, ни равнодушных — и чем больше думали, тем яснее становилось, что "великий кормчий" лишь направлял зловещую гильотину. Процедура была такова, что в любой из областей жизни ему требовались подручные, которые безропотно ставили бы на полицейских делах свои подписи и росчерком пера обрекали миллионы ни в чем неповинных людей. На транспорте занимался этим "железный нарком" Лазарь Каганович, в армии "славный маршал" Клим Ворошилов, в литературе — руководитель Союза советских писателей Александр Фадеев.

По свидетельству современников, многие годы Фадеев топил мысли о содеянном в долгих и диких запоях, пока в страхе перед разоблачением, а может быть, не в силах уйти от преследовавших его кошмаров, не пустил себе пулю в лоб. Можно представить этот зловещий театр теней, как в пьяном бреду являются его взору отправленные на тот свет его собратья по перу. Сколько их было? Может быть, назвал Фадеев их число в своем предсмертном письме в ЦК, а может быть, и сам не знал — не хотел знать, настолько устрашающе велика была эта цифра отправленных на тот свет Союзом писателей.

Таким он стал, наш гуманный Союз писателей, но, может быть, не все знают, каким он был на заре своего существования и во имя чего создавался, а знать это очень даже поучительно, чтобы видеть, какие метаморфозы произошли в нашем обществе и к чему привела всеочищающая буря Октября. Итак, каким же он был на заре своего существования? В 1920 году Блок обращался к поэту Михаилу Кузмину по случаю его пятидесятилетия с такими словами: "...Профессиональный союз поэтов... устроен для того, чтобы уберечь вас, поэта Михаила Кузмина и таких, как вы, от разных случайностей, которыми наполнена жизнь и которые могли бы вам сделать больно... все те лица, от которых я говорю, радостно и с ясной душой приветствуют вас как поэта, но ясность эта омрачена горькой заботой о том, как бы вас сберечь... Потерять поэта очень легко, но приобрести поэта очень трудно".

Блок говорил это в сентябре 1920 года, не подозревая, насколько печально пророческими окажутся его опасения за судьбу русских писателей. Нет, не в одночасье произошла эта метаморфоза, результатом которой и стал навеки вошедший в историю России тридцать седьмой год.

Из источников нам известно, что до начала 30-х годов Союз писателей во многом еще оставался таким, каким его видел Блок. В 1929 году его председателем стал один из блестящих писателей того времени Борис Пильняк, автор, может быть, самой популярной в те годы "Повести непогашенной Луны". Тогда это был еще по-настоящему творческий союз, который смело отвергал политические интриги и нападки РАППА, отстаивая каждого своего члена. Иронией судьбы Пильняк стал одной из первых мишеней им же возглавляемого Союза. Книгу Пильняка "Красное дерево" объявили антисоветской, а ее издание политической провокацией. И тут же взяли за Евгения Замятина, возглавлявшего Ленинградское отделение Союза и напечатавшего свой роман "Мы" за границей. Протестуя против гонений на Пильняка, Замятин вышел из Союза и вскоре уехал за границу.

Пильняку же предложили одуматься. Под угрозой и шантажом он сел за "истинно партийный роман" "Волга впадает в

Каспийское море", а редактором Пильняка стал никто иной, как Ежов, лично надзиравший за его творчеством и по прочтении окончательного варианта лично предложивший Пильняку переписать пятьдесят страниц. Кажется, именно тогда Пильняк сказал Виктору Сержу: "В этой стране нет ни одного мыслящего взрослого человека, который не задумывался бы о том, что его могут расстрелять".

В мае 1937 года на страницах "Правды" против Пильняка выступил Кирпотин, заявив, что это троцкистски настроенный критик Вронский подсказал Пильняку тему для контрреволюционной "Повести о непогашенной Луне". Для ареста этого было более чем достаточно. Согласно существующей версии, рожденный в горниле революции Борис Пильняк был расстрелян как японский шпион. Такова одна из первых страниц уже новой истории Союза писателей, так выполнялся им завет Блока оберегать писателя от разных случайностей, которые могут принести ему боль.

А вот и другая страница, посвященная поэту Павлу Васильеву, который выступил в защиту Бухарина, назвав его "человеком высочайшего благородства и совестью крестьянской России". Васильев обрушился на писателей, ставящих свои подписи под антибухаринскими выступлениями в печати. Он назвал их "порнографическими каракулями на полях русской литературы". И Союз писателей незамедлительно отреагировал: Васильева схватили 7 февраля 1937 года, прямо на улице, когда он вышел побриться в парикмахерскую.

Одна за другой следуют страницы зловещей летописи: Пантелеймон Романов, автор "Трех пар шелковых чулок" и повести "Без черемухи", Тициан Табидзе, о котором его жена лишь через семнадцать лет после его реабилитации узнала, что он был расстрелян в ночь на 16 декабря 1937 года; Николай Клюев, по дороге из ссылки бесследно исчезнувший в августе 1937 года; корреспондент "Правды" Михаил Кольцов, арестованный 12 декабря 1938 года по подозрению, что он агент лорда Бивербрука... И каждого, следуя сценариям НКВД, Союз писателей безропотно, а порой и с энтузиазмом, как это было с Павлом Васильевым, отдавал его тюремно-лагерной судьбе.

Возможно, и по сей день дела расстрелянных с многозначней надписью "Хранить вечно" находятся в секретных архивах Союза писателей, рядом с предсмертным письмом в ЦК их застрелившегося генсека. Но я уверен, что придет день, и архивы откроются и раскрутятся до конца свиток убитых и летопись удушения будет восстановлена в мельчайших и совершенно необходимых будущему историку подробностях.

В своей "благородной" деятельности писательский союз, как и НКВД, указаниям которого он безропотно подчинялся, проявлял немалую изобретательность. Из этой летописи удушения мы наверняка узнаем о последних днях брошенного Союзом на произвол судьбы, смертельно больного Булгакова, полтора десятилетия дрожавшего за судьбу своего гениального и в одном лишь экземпляре существовавшего романа "Мастер и Маргарита". Мы узнаем, как своими же собратями по перу был доведен до чахотки почти двадцать лет ходивший в "подкулачниках" Андрей Платонов, как в обстановке страха и гонений умер в 1958 году Михаил Зощенко, преданный вместе с Ахматовой всеобщему ostrакизму в "историческом постановлении партии" о журналах "Звезда" и "Ленинград". А Семен Гехт? А Василий Гроссман? А Пастернак? Нетрудно догадаться, к кому он, гонимый и тяжело больной, обращался за год до своей смерти.

**И видно также культ мещанства  
Еще по-прежнему в чести,  
Так что стреляются от пьянства  
Не в силах этого снести...**

Не поспешил ли застрелившийся в пьяном угаре Фадеев? Не прежде ли времени испугался расплаты? Так быстро сменялась тяжелыми заморозками наша чуть взблеснувшая российская оттепель, так эфемерны вообще наши российские перемены.

Меняются правители, вновь приходящие обличают предшественников, но нетленным остается обезчеловеченный режим, и продолжается летопись удушения и пополняется новыми

именами: Константин Богатырев... Галансков...и затравленный редактор "Нового мира" Александр Трифонович Твардовский — там же. И он в той же зловещей летописи! А Союз не довольствуется: еще не все! Через процесс исключения проводят Лидию Корнеевну Чуковскую, травят Георгия Владимова, удушают забвением Семена Израилевича Липкина.

Выше я писал о трагедии и безумстве преданности Ольги Берггольц. По российски, в вине, в запоях заливала она свои страдания. Но в минуты просветления писала:

**Я недругов смертью своей не утешу,  
чтоб в лживых слезах захлебнуться могли.  
Не вбит еще крюк, на котором повешусь,  
Не скован, не вырыт рудой из земли.  
Я встану над жизнью бездонной своею  
над страхом ее, над железной тоскою...  
Я знаю о многом. Я помню. Я смею.  
Я тоже чего-нибудь страшного стою...**

Можно убить писателя, но нельзя убить его рукописи — рукописи не горят, как поведал нам Булгаков. Можно удушить писателя, но нельзя удушить память о нем — память не уничтожаема. Как неотвратим и приговор истории, способной все теми же гордыми словами поэтессы заявить палачам: "Я встану над жизнью бездонной своею, я знаю о многом, я помню, я смею"...

Предлагаемую читателям нашего журнала статью мы получили из Москвы. Ее автор Владимир Николаевич Литвинов профессиональный историк, отдавший много лет жизни изучению русского анархизма и одного из его крупнейших деятелей Нестора Махно; об этом он написал большую книгу, которую, разумеется, в Советском Союзе опубликовать не удастся.

Редакция журнала не разделяет увлечения В.Н.Литвинова анархо-коммунистическими идеями, однако мы полагаем, что читателям будет интересно познакомиться с этим исследованием. Статья по-новому освещает материал, подвергшийся (как и вся новейшая история России) сознательному извращению.

Каждый читатель — в зависимости от его мировоззрения и зрелости — сам сделает выводы из статьи Литвинова; некоторым, может быть, пафос автора окажется близок, другим он будет чужд. Нет, однако, сомнений, что и для тех, и для других эта статья открывает много нового и что она всем даст пищу для размышлений.

*В.ЛИТВИНОВ*

## НЕСТОР МАХНО И ЕВРЕИ

Существует социологическая закономерность: чем более радикальным является тот или иной политический и общественный деятель, тем более многочисленными становятся всевозможные мифы, создаваемые вокруг этого человека его политическими и идейными противниками. Если к тому же мифотворчество осуществляется в условиях тоталитарного общества, когда противники этого общественного деятеля обладают монополией на источники информации, тогда научная историография неизбежно подменяется исторической фальсификацией. И когда затем продукты такого мифотворчества переходят на уровень обыденного сознания, тогда они выполняют функции самоцензуры общественного сознания в духе, угодном представителям правящей элиты. Понятно, что при таком положении дел всякое подлинно научное исследование истории должно базироваться на установлении исходных исторических фактов путем всесторонней критики фальсификаций, которые господствуют в официальной исторической науке. Для советской историографии

эта чистка авгиевых конюшен научных фальсификаций является особенно необходимой, если мы действительно хотим добраться до подлинных исторических фактов.

Нестор Иванович Махно (1888-1934) являлся одним из крупных деятелей социалистической революции и гражданской войны на юге Украины в 1917-1921 гг. Созданная им революционно-повстанческая армия, достигшая к осени 1919 года стотысячной численности, сыграла решающую роль как в разгроме белогвардейских частей под командованием генерала Деникина (осенью 1919 года), так и в разгроме войск барона Врангеля осенью 1920 года. Это оказалось решающим фактором в срыве врангелевского наступления на север Украины. Равным образом замалчивается и тот факт, что именно революционно-повстанческая армия Украины осуществила знаменитый рейд через Сиваш с заходом в тыл врангелевцев и с захватом столицы белого Крыма, Симферополя.\*

Махно, однако, был не только крупным военачальником эпохи гражданской войны. Он был также создателем и руководителем первой в мире анархо-советской республики на юге Украины, которую можно назвать Азово-Черноморской республикой. По величине своей (она включала пять нынешних областей: Запорожскую, Днепропетровскую, Ждановскую\*\*, Херсонскую, Николаевскую) и по численности населения (около 15 миллионов человек) эта республика превосходила многие нынешние государства. Как руководитель такой республики Махно во главу угла ставил создание самоуправляющегося общества и, естественно, был непримиримым противником тоталитаризма, навязываемого коммунистическим правительством Украины. Понятно поэтому, что анархо-советской республике постоянно приходилось вести борьбу с государственническими посягательствами как правых — белогвардейских генералов, — так и левых — красного командования РСФСР и правительства Украины.

Так или иначе Махно доставлял много неприятностей сво-

\* см.: Руднев В.В. Махновщина. Харьков, 1928, с.90-91.

\*\* Ждановской области не было. Жданов (тогда еще Мариуполь) входил в состав Екатеринославской губернии — Д.Т.

им оппонентам, и нет ничего удивительного в том, что вокруг его имени (пожалуй, больше, чем вокруг имени какого-либо другого противника тоталитаризма) создавались и до сих пор создаются всевозможные легенды, дискредитирующие в глазах всего мира как его лично, так и его движение. В чем только не обвиняют Махно! И в том, что он брался с кулаком, и в том, что открывал фронт Деникину, и в том, что был агентом польской шляхты и Петлюры, и во многих других мыслимых и немыслимых грехах. У этих мифов и легенд существует, однако, и общая черта. Я имею в виду широко распространенное обвинение Махно в махрово-черносотенном антисемитизме. Не будем далеко ходить за примерами. Несколько лет назад в Москве вышел из печати "Парижский дневник" некоего Николая Яковлевича Рощина, бывшего белоэмигранта, который во время второй мировой войны вел свои дневниковые записи. Материал этого дневника оказался некоторым нашим идеологам столь ценным, что часть его, связанная с личностью Махно, была даже перепечатана в еженедельнике "Голос Родины" (№ 46, ноябрь 1978) — в органе Советского общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом. Так вот, в этом самом "Дневнике", в записи от 16 мая 1943 года автор так вспоминает об одном из эпизодов двенадцатилетней давности.

**"Мы наняли такси и поехали во французский "Голливуд" — Жуанвиль под Парижем... Юпитеры вспыхивали и гасли. Во время одного перерыва я увидел, как снизу поднимался по переходу какой-то человек со связкой бугафорских биноклей через шею и на невозможном французском языке спрашивал: "Ки жумель?" ("Кто бинокль?") — Знаете, кто это — сжал мой локоть Морской. — Догадываюсь, что русский. — Это Нестор Махно.**

Я впился глазами в низенького худого человека с бабьим лицом. Во время гражданской войны мне пришлось в Донецком бассейне видеть небольшой поездной состав в шесть вагонов, отбитый белыми у Махно. Теплушки были пестро размалеваны всяческими лозунгами не столько анархическими, сколько просто разбойничьего, против всего и всех, содержания, а на самом видном месте нарисован был повешенный еврей, и надпись под рисунком гласила: "За каждого жида — три пуда муки!". Я знал, что собственник Жуанвильской студии, директора, почти все служащие, административный и технический персонал, как и сам Абель Ганс, были евреи. Я ничего не понимал. — Евреи?

пояснил мне Морской. — Ну что же, очевидно, им доставляет удовольствие держать у себя одного из самых жестоких погромщиков. Он служит здесь плотником уже много лет и, уверяю вас, вполне доволен своим местом. Перед отъездом из студии я попросил Морского показать мне Махно поближе. Мы нашли его в длинных коридорах костюмерной. Передо мной стоял маленький кастрат с волнистой шевелюрой белокурых волос, насупленными бровями и почти сумасшедшим взглядом мелких глаз из-под этих бровей..."

В сущности весь этот отрывок — плод чистого литературного вымысла, и Рощин, по-видимому, в действительности никогда не видел вблизи Махно. Будь это иначе, он, во-первых, никогда не написал бы такой нелепицы, а во-вторых, при встрече с Махно, он, как писатель, обязательно заметил бы и его хромоту и глубокий шрам на правой щеке от пулевого ранения, так же как и крупные темносиние глаза. И уж конечно никогда бы не назвал его кастратом с бабьим лицом. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с фотографиями Махно того периода, помещенными во втором и третьем томах его воспоминаний или в книге П.А.Аршинова "История махновского движения".

Мифы о еврейских погромах, якобы проводимых Махно на юге Украины, широко распространены и в нашей отечественной литературе, особенно в тех работах, которые вышли из печати после 1921 года. В последнее время, однако, здесь наметилась новая тенденция — попытка связать мнимый антисемитизм Махно с современным сионизмом, то есть показать, что между антисемитизмом и сионизмом существует глубокая связь и последний якобы явился результатом интриг и козней всемирного сионизма.

В этом новом мифе антисемитизм Махно предполагается настолько несомненным, что он вовсе не доказывается, а просто служит исходной предпосылкой для клеветы.

Между тем проблема эта имеет огромное теоретическое и политическое звучание. Дело здесь даже не только в личности Махно (хотя и это важно), но и в том, что анархо-повстанческое движение было теснейшим образом связано с героической попыткой части еврейского населения Украины обрести свое социальное и национальное самоопределение. В том, что еврейское население пыталось найти ключ к своему воз-

рождению именно в анархизме — особенно в его коммунистическом варианте — не было ничего удивительного. Анархо-коммунизм проповедовал "братство труда" и неограниченное право не только каждого народа, но и каждой личности на свое культурное самоопределение. Ему было совершенно чуждо узко националистическое мировоззрение. Для него патриотизм как великодержавное чувство национального превосходства был, выражаясь словами известной американской анархистки Эммы Гольдман, "последним аргументом прохвостов".\* Только анархо-коммунизм указывал на возможность немедленного и полного торжества на земле царства истины, добра и справедливости для всех страждущих и угнетенных, к какому бы роду-племени они ни принадлежали.

В социально-классовой структуре царской России еврейское население являлось одним из самых угнетенных и бесправных. Понятно поэтому, что с самого начала анархо-коммунистическое движение привлекало наиболее активные элементы еврейских трудящихся, которые стремились к немедленному осуществлению "царства Божиего" на земле. Достаточно отметить, что первая анархо-коммунистическая группа, возникшая накануне революции 1905 года, была Белостокская группа "Борьба". Она состояла в основном из еврейского населения Белостока. Ею руководили выходцы из еврейской интеллигенции. Отчет Особого отделения Департамента полиции отмечал, что к числу их принадлежали братья Брумеры, Рубинштейн, Пикис, Каплан (француженка), Раковский, Куприц, Трейвиш, Каган, Тыктынь, Шойхет, Цитрон".\*\*

## В ГОДЫ ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Родина Махно — местечко Гуляй-Поле бывшей Екатеринославской губернии (теперь оно входит в состав Запорожской области). С этнографической точки зрения, Гуляй-Поле и при-

\* Гольдман Э. Анархизм. М., 1921, с.7.

\*\* ЦГАОР. Департамент полиции. Фонд 102, оп. 600, хр. за 1904 г. л.166.

легающие к нему волости представляли собой своеобразный национальный Ноев ковчег тогдашней России — евреи и немцы, поляки и татары, греки и сербы, украинцы, русские и цыгане — всех не перечислить. Здесь полностью отсутствовал национальный антагонизм, а тем более какие-нибудь признаки шовинизма.

Кроме того, к началу первой русской революции здесь существовала достаточно глубоко зашедшая социально-классовая дифференциация, в особенности в еврейской общине. С одной стороны, мы встречаем многочисленный слой еврейской бедноты, занятой в сельском хозяйстве и промышленности, а с другой — небольшую торгово-промышленную группу еврейской элиты. Это, например, крупнейший гуляйпольский землевладелец, скотопромышленник и владелец чугунолитейного завода Кернер, два владельца заводов по производству сельскохозяйственных машин — Кригер и Вичлинский, скотопромышленник и торговец Гельбух и другие. По образу жизни и по культуре они тяготели скорее к немецко-украинской элите, нежели к своим соплеменникам, работавшим на их предприятиях. Понятно поэтому, что в годы первой русской революции еврейская национальная община раскололась на два враждебных лагеря: узкую группу торгово-промышленных магнатов и широкий слой еврейской бедноты. Традиционная еврейская солидарность явно уступила место классовой солидарности. Не случайно представители еврейской молодежи занимали достаточно видное место в руководящем составе первой гуляйпольской анархо-коммунистической организации, созданной здесь в начале 1906 года.

Когда члены этой анархо-коммунистической организации проводили свои экспроприации в домах еврейского капитала, в этих операциях всегда принимали участие и еврейские активисты. И конечно же, как правило, в ходе этих операций отсутствовали антисемитские выпады.

Что же касается самого Махно, то ему чужд был не только идейный, но и бытовой антисемитизм. Махно лишился отца очень рано, ему не было и года. И именно еврейская семья помогала его матери, оставшейся с четырьмя детьми на руках.

К Иосифу Даниловичу Вичлинскому Махно сохранил сыновнюю привязанность на всю жизнь. В своих воспоминаниях, опубликованных в 1926 году, Махно рассказал, как он был выпущен из Александровской тюрьмы под залог в две тысячи рублей. Эту сумму — по тому времени громадную — внес именно Вичлинский.

Все архивные материалы, воспоминания и мемуары свидетельствуют о том, что анархо-коммунистическая группа с самого начала заняла непримиримую позицию по отношению к попыткам местных властей создать в Гуляй-Поле филиал "Союза русского народа".

Вот как рассказывает о борьбе гуляйпольских анархистов руководитель Союза бедных хлеборобов Вольдемар Генрихович Антони.

**"Мы собрались и решили: пока не поздно мы должны разогнать это сборище "истинно русских". Я написал печатными буквами и оттиснул не гектографе прокламацию, в которой угрожал от имени нашей организации, что мы будем бороться "огнем и оружием". И как помещики были главными организаторами, мы объявили нашим массовикам, чтобы поджигали самых рьяных из них. В первую очередь зажгли помещицу Черноглазиху, игравшую первую скрипку в их Союзе, а потом запыхали ближние и дальние помещики, и пожары пошли и пошли во все стороны. Стало сумрачно и жутко ночами от этого огнища. Подожгли и одного, то есть хату одного крестьянина в селе, очень ретивого члена "истинно русских". На пожар сбежался народ, но никто не хотел помочь ему тушить огонь. Тогда он обратился с просьбой: "Та чего же вы стоите? Те помогите ж тушить". А соседи стоят, смеются и говорят: "Хай тобі Георгий помогає!" Тогда крестьянин сорвал с груди жетон и бросил его в огонь. "О, теперь ты наш, теперь мы тебе поможем тушить". И помогли погасить пожар".**

Осенью 1908 года полиции удалось арестовать по существу весь актив Союза бедных хлеборобов. Ареста избежали лишь его основатель Антони и неформальный заместитель Александр Семенюта. Махно был приговорен к смертной казни через повешение, но затем смертная казнь была заменена бессрочной каторгой. Каторгу Махно отбывал в Бутырках — Московской центральной тюрьме — и был освобожден спустя почти семь лет февральской революцией. В конце марта Махно возвратился в Гуляй-Поле, чтобы начать здесь строительство "безвластного общества".

## МЯТЕЖНЫЙ 1917 ГОД

В апреле 1917 года, в Киеве, на Всеукраинском национальном съезде, насчитывавшем около тысячи делегатов, была избрана Центральная Рада, взявшая на себя политическое представительство украинского народа, а позже и суверенного украинского государства. Съезд требовал: национально-территориальной автономии; преобразования бывшей царской империи в федерацию; создания в рамках этой федерации национальных республик; обеспечения прав меньшинств.

Однако попытка Центральной Рады добиться признания Временного правительства потерпела крах. В ответ Центральная Рада приняла 23 июня свой Первый Универсал, в котором провозглашалась автономия с созданием законодательного органа и национального правительства — Центральной Рады и ее Генерального секретариата. Это была широкая коалиция буржуазных и мелкобуржуазных партий — в большинстве социал-демократов (меньшевиков) и "правых" социалистов-революционеров. Политика этого правительства была ориентирована на самостоятельность Украины как буржуазно-демократической республики. Центром шовинистической пропаганды выступало Всеукраинское общество "Просвит". Украинизацию армии возглавил украинский войсковой Генеральный Комитет во главе с Петлюрой.

Однако настроения широких масс выражали анархо-коммунисты. Они требовали немедленного раздела земель и введения коммунизма.

Действия Махно отличались от действий московских анархистов тем, что он не только не отрицал необходимости участия своей группы в общественных организациях, несвязанных с непосредственным нападением на капитал, но, напротив, сразу же поставил перед гуляйпольскими анархистами задачу вхождения во все общественные и правительственные организации. Махно считал, что, действуя изнутри, можно постепенно разложить их и превратить из органов поддержки "властнического порядка" в органы самоуправления народа.



К концу лета эта тактика дала, с точки зрения анархо-коммунистов, блестящие результаты. Анархисты овладели гуляйпольским "Общественным Комитетом", "Крестьянским Союзом", профессиональными союзами деревообделочников и металлистов. К сентябрю трудовые массы левобережного крестьянства Александровского уезда уже прочно стояли на анархистских позициях. Об этом, в частности, свидетельствует резолюция межволостного объединенного съезда Советов рабочих и крестьянских депутатов Гуляй-Поля и прилегающих волостей. Это резолюция гласила:

**"Гуляйпольский районный съезд трудящихся решительно осуждает претензии правительства — Временного Правительства в Петрограде и Украинской Центральной Рады в Киеве — на управление жизнью трудящихся и призывает Советы на местах, все трудовое население... игнорировать всякие распоряжения этих правительств. Народ — правитель для себя в своей среде. Это — его исконная мечта, и настал час осуществления ее в жизнь. Отныне вся земля, фабрики и заводы должны принадлежать трудящимся. Трудовое крестьянство — хозяин земли, рабочие — хозяева фабрик и заводов. Перед крестьянами стоит задача — изгнать всех помещиков и кулаков, не желающих заняться собственным трудом, из усадеб и организовать в усадьбах сельскохозяйственные коммуны из добровольцев, крестьян и рабочих. Инициатором этого дела съезд считает группу а/нархо/-к/коммунистов/ и поручает им руководить организацией его .**

Успехи гуляйпольских революционеров были обусловлены тем, что в своей деятельности они опирались в первую очередь на бедняцко-средняцкие массы всех национальных групп. И как в годы первой русской революции, еврейское население играло здесь весьма существенную роль. Оно было широко представлено прежде всего в самом активе анархо-коммунистической организации. Сюда входили: Абрам Шнейдер, братья Шаровские, Степан Шепель, Лев Горелик. Это был старый состав группы. Но появились и новые имена, например, Хаим Горелик и Василий Тарановский.

Все сказанное заставляет непредубежденного исследователя отклонить как несоответствующие истине все исторические концепции, базирующиеся на том, что еврейство в мах-

\* Махно Н. Русская революция на Украине. Париж, 1929, с.9.

новском районе стояло в стороне от крестьянско-анархического движения или что оно являлось объектом всевозможных манипуляций со стороны "анархо-погромщиков". Эти концепции выводятся из ложной посылки, будто еврейство, оторванное от сельского хозяйства, не включилось в борьбу за революционные преобразования в деревне.

Факты свидетельствуют, напротив, о том, что бедняцко-средняцкая часть еврейства, широко представленная на селе, играла роль активного творца махновской политики. Это справедливо не только по отношению к 1917 году, но особенно в последующие два года — 1918 и 1919-й.

Понятно, что социалистические преобразования в левобережной части Екатеринославской губернии, проводимые анархо-коммунистами, встречали активное сопротивление, в первую очередь со стороны крупных украинских землевладельцев, помещиков и кулаков, объединившихся вокруг "Просвита" и возглавляемых агрономом Дмитриенко и бывшим прапорщиком Рябко. Одним из пунктов их программы был национализм и как следствие — антисемитизм.

Вскоре после расстрела июльской демонстрации в Петрограде, местные националисты, по-видимому, решили провести разведку боем. Как население относится к революционерам-евреям и как, с другой стороны, сами революционеры реагируют на рост националистических настроений?

Шел один из бесчисленных митингов, устраиваемых в Гуляй-Поле Временным правительством. На митинге выступал и Махно со страстной речью против Временного правительства. В тот момент, когда Махно сделал паузу, кто-то неожиданно выкрикнул: "А как вы, Нестор Иванович, смотрите на жидив, что вместе с ними заседают в президиуме Общественного комитета?" Вот краткое содержание ответа Махно:

**"Еврей, вздохни свободно. В дни царства Крушивановых, Пуришкевичей и Марковых Вторых ты не раз был принужден покидать свои мирные лачуги и долгие годы скитаться вдаль от родины без крова, ласки и утешения. Ты изнемог. Вздохни и будь свободным, как и все народы".\***

\* "Анархический вестник" 1923, № 5-6.

Весьма примечателен собственный комментарий Махно к этому выступлению:

**"И я своих слов не забыл. Я не отрекся от них, как Петр от Христа. Когда я видел, что на пути моей ответственной революционной работы эти слова не оправдывались, когда свобода и жизнь еврейства насильно, я всех насильников уничтожал"**.

И действительно, несмотря на все сложности политической борьбы на юге Украины, Махно никогда не отступал от интернационалистической программы в еврейском вопросе.

Судя по всему, выступление Махно по еврейскому вопросу на митинге получило одобрение со стороны населения, так что националисты, видимо, решили на время воздержаться от антисемитских выпадов. Они сосредоточивали теперь свои усилия на организации единого контрреволюционного фронта, объединяющего в своих рядах капиталистов и крупных землевладельцев всех национальностей, включая и еврейскую буржуазию. Этот альянс контрреволюционных сил основывался исключительно на всеобщей ненависти частных собственников к тем социальным преобразованиям, которые усиленно стали проводиться в Гуляй-Поле сельским Советом и Ревкомом после того, как в ноябре 1917 года они отвергли претензии Центральной Рады на верховную власть на Украине.

Отныне гуляйпольцы связали свою судьбу с судьбой коммунистической России и ее социалистическими преобразованиями. Я имею в виду те из них, которые имели место в период с октября 1917 года по апрель 1918-го. Это был период совместной анархо-большевистской деятельности, с одной стороны, по разрушению старой государственности и замене ее Советами, наделенными широчайшими правами, а с другой — период коммютарного строительства в промышленности и в сельском хозяйстве.

Декрет Совнаркома о рабочем контроле, подготовленный наркомом труда А.Шляпниковым, человеком, прошедшим большую синдикалистскую подготовку, по существу выражал анархо-синдикалистскую программу. То же самое происходило в сельском хозяйстве. Согласно закону о социализации

\* Там же.

земли, принятом в январе 1918 года (его не надо путать с Декретом о земле, провозглашенном на Втором съезде Советов) крупные помещичьи хозяйства, будучи социализированными, должны были стать образцовыми коллективными предприятиями.

Недовольство аграрной политикой и реквизициями, проводимыми Советом и Ревкомом сплотило правые силы в блок, который весной 1918 года совершил контрреволюционный переворот. Вся обстановка на Украине в начале 1918 года способствовала успеху этого переворота.

Центральная Рада провозгласила в ноябре 1917 года национальную независимость Украины. Она демонстративно не признавала решений Первого Всеукраинского съезда Советов, созванного большевиками в Харькове во второй половине 1917 года, в частности того, что Украина является "федеративной частью Советской России". Именно это вызвало знаменитый ультиматум Ленина — признать органы коммунистической власти на Украине. Рада отклонила ультиматум и разогнала Киевский Совет рабочих депутатов. Почти одновременно она заключила сепаратный договор с Германией и Австрией, чтобы получить поддержку этих держав в борьбе с коммунистической Россией и коммунистическим движением на Украине. 22 января 1918 года своим Четвертым универсалом Рада объявила об окончательном отделении от Советской России. Между РСФСР и только что образовавшейся Украинской народной республикой вспыхнул военный конфликт. Положение Центральной Рады казалось катастрофическим. Она несомненно не выдержала бы борьбы с РСФСР и внутренними коммунистическими и анархическими силами, если бы ее не защитили немцы, положившие конец военным действиям между РСФСР и Украиной Брестским договором и фактической оккупацией Украины.

Под прикрытием немецких штыков Рада сразу же приступила к жестокому подавлению очагов социалистического движения, которые возникли на Украине. Таким очагом и был Гуляй-Поле, в котором агенты Центральной Рады уже давно готовили переворот.

## ГОД 1918-ЫЙ

Вряд ли широко известно, что ударной силой этого переворота стала еврейская рота, состоявшая из трехсот бойцов и возглавлявшаяся двумя еврейскими активистами — Тарановским и Шаровским. При формировании этой роты анархо-коммунистическая организация Гуляй-Поля позволила влиться в нее представителям мелкобуржуазных слоев еврейства, а командование ею поручила примыкавшему к эсерам В.Тарановскому. Именно это обстоятельство и сыграло роковую роль. Крупные собственники стали искать подход к еврейской роте, чтобы склонить ее на свою сторону, и в конце-концов преуспели. Этому способствовали также и политические условия, сложившиеся на юге Украины весной 1918 года.

Центром шовинистических сил, как уже говорилось, было общество "Просвита". Это общество из маленького и не имевшего влияния, превратилось в организацию, имевшую пятнадцать филиалов в окрестностях Гуляй-Поля и практически включавшую всю интеллигенцию, которая полностью стояла на националистических позициях. Крестьянскую националистическую организацию представляла "Спилка".

Когда Рада провозгласила национальную независимость, члены "Просвита" и "Спилки" устроили настоящий националистический шабаш. Шовинисты стали еще более активны, когда Рада заключила Брест-Литовский сепаратный мир с немцами и австрийцами и двинула свое "вольное казачество" на покорение красных районов Украины.

В середине апреля объединенные немецко-гайдамацкие части уже приближались к Гуляй-Полю. Ни самого Махно, ни отряда анархистов в это время здесь не было. Они защищали революцию вместе с частями Красной армии южнее Гуляй-Поля. Об обороне Гуляй-Поля говорить было бессмысленно. Крестьяне, поначалу верившие в посулы Центральной Рады, не жаждали идти на верную гибель. Еще меньше хотели идти на это бойцы еврейской роты. Этим и воспользовались руководители "Просвита". Они начали тайные переговоры с одним из разложившихся анархистов и личным врагом Махно Львом

Шнейдером. Через него они предложили еврейской роте заключить "перемирие" с Центральной Радой, арестовать Ревком и Секретариат анархо-коммунистов, обещая не прибегать ни к каким репрессиям. Бойцы еврейской роты согласились на это после того, как эти условия поддержал их командир Тарановский.

Еврейская рота была разбита на две группы. Одной из них под руководством Тарановского предстояло арестовать Ревком, другой — во главе со Шнейдером — Секретариат анархо-коммунистов. Эта операция была проведена с 14 на 15 апреля. Тарановский во время ареста Ревкома вел себя сдержанно и даже подавленно. Его явно угнетала роль жандарма. Однако он был убежден, что без ареста Ревкома нельзя предотвратить кровопролития. Ревком располагал хорошо вооруженными и отчаянно преданными ему сторонниками и в самом Гуляй-Поле, и среди окрестных коммунаров. К тому же Тарановский был уверен: как только Гуляй-Поле будет сдано, членов Ревкома без всяких последствий отпустят по домам.

Совсем по другому вел себя Шнейдер. Он первым ворвался с оружием в руках в здание секретариата. Теперь наконец-то он смог проявить чудовищную ненависть, которую до сих пор искусно скрывал. В безумном исступлении, выкрикивая бессвязные ругательства, он срывал со стен портреты Бакунина и Кропоткина.

Для членов Ревкома и секретариата анархо-коммунистов предательство еврейской роты явилось полной неожиданностью. С душевной болью смотрели они на тех, кого не раз защищали от антисемитских погромов, кому вручили оружие для защиты революции и кто теперь, действуя заодно с врагами, держал их в кутузке.

Тарановский и Шаровский обманулись в своих ожиданиях. Еще до того как в Гуляй-Поле вступили самостийники, здесь стали в полной мере проявляться подлинные намерения "просвитчиков" и "вольного казачества".. Становилось ясно, что оба они, как и вся еврейская рота, были обмануты. Мучимые совестью, Тарановский и Шаровский на свой страх и риск выпустили арестованных накануне прихода австрийцев. И вовремя.

"Пострадавшие" помещики и националисты сразу же устроили охоту за теми, кто был причастен к анархической организации. Они тут же поспешили нарушить договор, один из пунктов которого гласил, что в случае сдачи Гуляй-Поли, еврейское население не будет тронуту. Это они, крупные землевладельцы и члены "Просвита" подвергли молодого анархиста Хаима Горелика бесчеловечным пыткам. О нем рассказывает в своих мемуарах Махно.

В вакханалии террора вместе с шовинистами принимали участие и некоторые крупные еврейские собственники, в частности хозяин гуляйпольского мыловаренного завода, некий Левинский.

В конце апреля 1918 года сумевшие избежать террора анархисты собрались на конференцию в Таганроге. Конференция была посвящена контрреволюционному перевороту в Гуляй-Поле. Понятно, что вопрос о причинах сдачи Гуляй-Поля сразу же перерос в вопрос об отношении к еврейскому населению в плане привлечения его к революционному движению. В адрес евреев было сказано немало горьких слов. Вряд ли можно усмотреть в них акты антисемитизма.

Решение Таганрогской конференции по еврейскому вопросу в конечном счете сводилось к тому, что анархо-коммунисты и впредь должны проводить революционную работу с евреями и вести непримиримую борьбу со всеми формами антисемитизма. Это решение, принятое в один из самых трудных моментов в истории межнациональных отношений в районе, контролируемом анархистами, свидетельствует о необычайной устойчивости их политических принципов.

Оценивая много лет спустя это решение Махно имел все основания заявить:

**"Вообще все те, кто называет махновцев погромщиками, лгут на них. Ибо никто, даже из самих евреев, никогда так жестоко и честно не боролся с антисемитизмом и погромщиками на Украине, как анархо-махновцы".**

\* Махно Н. Под ударами контрреволюции. Париж, 1936, с.19. Эта книга вышла спустя два года после смерти Махно под редакцией В.Волина (Эйхенбаума), который хорошо знал положение дел в махновском районе и не подвергал сомнению рассказ Махно о Таганрогской конференции.

В конце апреля немцы, недовольные Радой из-за невыполнения договора о поставке сельскохозяйственных продуктов и сырья, разогнали ее и к власти пришла помещичье-капиталистическая верхушка во главе с гетманом Скоропадским. Он ознаменовал начало своего правления восстановлением помещичьего и куркульского землевладения и всеобщего грабежа украинского населения во имя выполнения коллаборационистских обязательств по отношению к Германии и Австрии. Все это в ущерб крестьянским интересам, и единственной силой, активно представлявшей их интересы, были анархисты и левые эсеры. Именно они и возглавили вооруженную борьбу как против режима Скоропадского, так и против иноземцев.

В этой борьбе национальные и социальные устремления были настолько тесно переплетены, что можно говорить об особой украинской социалистической революции, и это, на мой взгляд, не будет преувеличением.

Анархо-коммунисты во главе с Махно, а затем и левые эсеры успешно громили немцев, они держали фронт против белогвардейских частей Деникина и петлюровской Директории задолго до того, как сюда в январе 1919 года пришла Красная армия, привезя в своем обозе Временное советское украинское правительство.

Что касается политики в еврейском вопросе, то это была политика, направленная на революционное содружество с беднейшими слоями еврейского населения, а также защиты евреев от любых форм антисемитизма.

Один из примеров того, как повстанцы осуществляли защиту евреев, приводит сам Нестор Махно в упоминавшихся уже "Записках", опубликованных в берлинском "Анархическом вестнике".

**Стоит конец декабря 1918 года. Часть повстанческих соединений Махно совместно с красноармейскими отрядами ведут борьбу против петлюровцев в Екатеринославе. Махно получает из гуляйпольского штаба телеграмму, в которой говорится о том, что на днях сюда прибыл вновь организованный партизанский отряд во главе с командиром Метла (по некоторым данным, эсер из Одессы). Штабом повстанческих войск этот отряд был направлен на Цареконстантиновский боевой участок в распоряжение его командира анархиста Куриленко. Курилен-**

ко распорядился, чтобы отряд Метлы (видимо, как вызывающий подозрение в политической неблагонадежности) был влит в повстанческий полк. Отряд Метлы взбунтовался, отказался исполнить распоряжение и ушел в свой район, разгромив по дороге одну из еврейских колоний. Махно отправил в Гуляй-Поле гневную телеграмму: "Немедленно выделить из полка хороших бойцов и под руководством ответственного лица настичь отряд Метлы и обезоружить. Главарей расстрелять".

Весть о разгроме еврейской колонии вызвала целый поток протестов и возмущений. Судя по словам Махно, многие из повстанцев присылали ему через своих командиров коллективные заявления: "Батько! Мы по борьбе истинные ваши сыны, сыны нашего народа. Верьте нам, что мы, услышав о разгроме отрядом Метлы еврейской колонии № 2, знаем и чувствуем, как это отозвалось на вас. Верьте, что с такой же болью, как и вы, мы вместе с вашим сердцем и разумом переживаем этот позор. Клянемся вам, батько, что среди нас, в наших частях такого отношения к еврейству не замечается, а если появится, то вашим именем мы его уничтожим. Поддержите нас в этом".

И он всячески поддерживал их в этом. Он издал и разослал приказ, в котором говорилось, что всякий грабеж, изнасилование или убийство не только еврея, но и мирного жителя какой-нибудь другой нации повлечет за собой расстрел всех командиров той части, в которой окажутся преступления. И он свято выполнял этот приказ

Именно об этом свидетельствует один из членов Всероссийской комиссии по расследованию зверств белогвардейцев, американский анархист Александр Беркман. Он же свидетельствует и о том, что Махно расстреливал за еврейские погромы не только повстанцев, но даже население. Так, например, в статье "Большевицкая ложь об анархистах", опубликованной в газете "Американские известия" от 17 мая 1922 года, он рассказывает о том, что в связи с погромом еврейской колонии "Горькое" 12 мая 1919 года "махновский штаб назначил комиссию для расследования, которая установила, что евреи были убиты известными крестьянами деревни Успеновки. Хотя эти крестьяне не входили в состав армии Махно, их приговорили к смертной казни за погром" (с.2).

Подобных фактов можно было бы привести множество, но вряд ли они добавят еще что-то принципиально новое к тому, что было уже сказано выше.

## ГОД 1919-ЫЙ

С какой бы точки зрения ни посмотреть на этот год: с социально-экономической ли, политической или военной — он был самым насыщенным революционными событиями за всю историю махновского движения. Этот год начался созданием почти тридцатитысячной повстанческой вольницы на левобережной Украине и завершился организацией двухсот пятидесятитысячной Революционно-повстанческой армии.\* Она громила отборные деникинские части и водружала черно-красные анархистские знамена в Херсоне, Николаеве, Бердянске и Мариуполе на юге Украины, в Екатеринославе — на севере, от Кривого Рога до Волновахи с запада на восток.

В социально-экономическом отношении это был период борьбы за экономическое освобождение народа от "гнета государства" и строительства анархо-коммунизма в промышленности и сельском хозяйстве.

В политическом отношении это был год торжества и распространения вширь по всей территории "Азово-Черноморской республики" "безвластных Советов", осуществляющих общественное самоуправление трудящихся. Что же касается отношения повстанческого движения к еврейскому населению — это был год дальнейшего укрепления интернациональных принципов анархо-коммунизма. И если подходить к 1919 году именно с этой точки зрения, то следует отметить, что начался он единогласным утверждением на Втором Гуляйпольском съезде Советов специальной резолюции "против грабежей, насилия и еврейских погромов, чинимых разными темными личностями, прикрывающимися именем честных повстанцев". Вот ее текст.

**"2-ой Районный съезд фронтовиков, Советов, подотделов и штабов имени батько Махно, заслушав доклад делегатов с мест о чинимых во многих местах разными бандами грабежах, насилиях и еврейских погромах, постановил:**

\* См.: Белаш В. Махновщина. — "Летопись революции", Харьков, 1928, № 3 (30), с.221. Его же. Махновщина (1917-1921). рукопись, 395 с. Архив истории партии при ЦК КПУ (Киев), ф.5, оп.1, ед.хр.332.

1. Все бесчинства, вылившиеся в форме грабежей, самочинных реквизиций и насилия над мирными жителями, вызываются и поддерживаются темными контрреволюционными элементами, присосавшимися к честным повстанцам и позорящими имя славных честных революционеров, борющихся за торжество свободы и справедливости.

2. Национальный антагонизм, принявший в некоторых местах форму еврейских погромов, — результат старого отжившего самодержавного режима. Царское правительство натравливало несознательные трудовые массы на евреев, надеясь все зло, все преступления свои взвалить на еврейскую бедноту, и этим отвлечь внимание всего трудового народа от истинных причин его бедствий, от гнета царского самодержавия и его опричников.

3. Перед лицом Русской и надвигающейся Всемирной социальной Революции одинаково восстали угнетенные и поработанные всех национальностей и всех убеждений. Рабочие и крестьяне всех стран и всех национальностей стоят перед одной великой общей задачей — свержение гнета буржуазии, класса эксплуататоров, свержение ига капитала и власти и водворения нового общественного строя, основанного на свободе, братстве и справедливости.

4. Поработанные всех национальностей, будь они русские, поляки, латыши, армяне, евреи или немцы, должны объединиться в одну общую дружную семью Рабочих и Крестьян и сильным, мощным напором нанести последний и решительный удар классу капиталистов, империалистов и их прислужников и окончательно сбросить с себя цепи экономического рабства и духовного закрепощения.

5. Все лица, принимавшие участие в вышеупомянутых бесчинствах и насилиях, являются врагами Революции и трудящегося народа и должны быть расстреляны на местах преступления.

**Долой капитал и власть!**

**Долой религиозные предрассудки и национальную ненависть!**

**Да здравствует единая великая семья трудящихся всего мира!**

**Да здравствует социальная революция!"**

Исторические факты свидетельствуют, что эта резолюция составляла незыблемую основу всей национальной политики революционно-повстанческого движения. Когда, например, в мае 1919 года "красный атаман" Григорьев поднял антисоветский мятеж и написал на своих знаменах лозунги самостоятельности и антисемитизма, это явилось одним из весьма существенных мотивов, заставивших Махно объявить войну

\* Протоколы 2-го районного съезда фронтовиков, крестьян и рабочих гуляйпольского района. Гупяй-Поле, 1919.

Григорьеву. В специальном штабном воззвании повстанческой армии "Кто такой Григорьев?" Махно прямо заявлял, что Григорьев — контрреволюционер и враг трудового народа еще и потому, что он возвел антисемитизм в политический принцип.

"Что говорит Григорьев? ...Он говорит, что Украиной управляют люди, распявшие Христа и люди, пришедшие из московской "обжорки". Братья! Разве вы не слышите в этих словах мрачного призыва к еврейскому погрому?!"\*

Знаменательно и то, что само еврейское население доверяло Махно и в массовом порядке включалось в его движение, принимая участие в революционных боях. Евреи часто занимали и ответственные посты. Так, председателем гуляйпольского Совета был Коган, начальником штаба — Тарановский, начальником контрразведки — Зиньковский, попеременными руководителями культурно-просветительного отдела Военно-революционного Совета были Эйхенбаум и Барон. Навсегда прославил себя гуляйпольская еврейская артиллерийская батарея во главе с Абрамом Шнейдером. Эта батарея, столкнувшись с конницей Шкуро и расстреляв все снаряды и патроны, не повернула назад, а перешла в штыковой бой, защищая до конца вольный повстанческий район от белопогромщиков. Разве возможно было бы все это, если бы Махно действительно проводил антисемитскую политику, если бы он украшал теплушки лозунгами, которые якобы видел Н.Рощин, если бы махновское движение было таким, каким его рисует советская официальная историческая наука, например, в лице М.Спектора, написавшего повесть "В логове Махно"?!

Но свидетелей деятельности Махно уже нет в живых. В большинстве своем они погибли в сталинских лагерях. Однако, свидетельства 20-х годов существуют. Приведу два из них.

Один из активных деятелей советского режима в Екатеринославе М.Равич-Черкасский в своей брошюре "Махно и махновщина" писал осенью 1920 года: "Махно и его идейные руководители не ведут шовинистической агитации ни против

\* См.: Аршинов П. История махновского движения. Берлин, 1923, с.112-115 (весь текст воззвания).

"кацапов", ни против "московской обжорки", как атаман Григорьев, ни против "жида" (с.8-9).

Другое свидетельство принадлежит еврейским исследователям, издавшим в 1922 году в Харбине "Багровую книгу" о погромах 1919-1920 годов на Украине. Эта книга представляет собой настоящий мартиролог чудовищных страданий еврейского народа на Украине. В ней отмечены все, даже самые мелкие случаи еврейских погромов, спровоцированных командованиями всевозможных армий и вооруженными бандитами. Но здесь ни чего не говорится о еврейских погромах, связанных с именем махновского движения. В книге, конечно, указывается, что махновцы реквизируют имущество еврейского населения (разумеется, зажиточного) точно так же, как они реквизируют имущество населения других национальностей. Но это была не национальная, а социальная политика. Иначе и быть не могло, ибо на черно-красных знаменах анархо-махновцев был начертан лозунг: "С угнетенными против угнетателей навеки".

## РАЗГРОМ

В 1920 году невиданный доселе в истории человеческого общества эксперимент по строительству анархического общества был прерван. Он прекратился, прежде всего, из-за недостаточной его подготовленности. Кроме того, Красное командование развернуло широкие боевые операции против армии Махно. Революционно-повстанческая армия растаяла в бесконечных боях с превосходящими силами.

В августе 1921 года с небольшой группой сторонников Махно ушел за границу. С 1926 года он жил в Париже, работая художником-оформителем на парижской киностудии.

Умер Махно 25 июля 1934 года. Из всех неанархических газет наиболее доброжелательно откликнулась на его смерть только парижская еврейская газета.\*

\* Волин (Эйхенбаум). Нестор Махно. Некролог. — "Дело труда", октябрь-ноябрь, 1934, с.7.



Игорь ЕФИМОВ

## ПИСАТЕЛЬ, РАСКОНВОИРОВАННЫЙ В ИСТОРИКИ

Новый взгляд на роман Юрия Трифонова "Старик"

### РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ БОЛЕН ИСТОРИЕЙ

Карамзин в разгаре литературной славы оставляет вдруг беллетристику и на многие годы погружается в создание "Истории государства Российского". Пушкин пишет "Медного всадника", "Полтаву", "Арапа Петра Великого", а затем так же забывает на время поэзию и прозу ради двухтомной "Истории Пугачевского бунта". Толстой во время работы над "Войной и миром" превратился по существу в историка описываемой эпохи. Была ли в мире другая литература с таким числом парадоксальных превращений?

Во второй половине XIX века тяга литераторов к истории становится менее заметной. Достоевский, Чехов, Бунин, Горький заняты как будто лишь злобой дня. Для воссоздания вечной драмы души человеческой им вполне хватало той образной ткани, которую выплескивала жизнь современников. Но не говорит ли это о том, что они не ощущали современ-

менную им жизнь ущербно беспамятной? Что ослабление цензурных барьеров после реформ 1861 года позволило взяться за дело блестящим профессионалам — Соловьеву, Ключевскому, Иловайскому и др., и писателям больше не было нужды бросать литературу и пытаться вернуть русскому общественному сознанию этот жизненно необходимый фермент — историческую память? Что у людей тех лет было ощущение, что они знают, откуда явилась ("быть пошла") земля Русская и куда она идет?

После катастрофы 17-го года тоска по истории возродилась с новой силой. Причем проявлялась и проявляется она на всех уровнях. На казенно-патриотическом отзывались на эту тягу Алексей Толстой, Чапыгин, Злобин, Герман и сотни других, помельче. На бульварно-коммерческом уровне разгулялся, завлек, обдурил читателя беспардонный Пикуль. Но и настоящие писатели не оставляли попыток найти корни происходящего в былом, Платонов написал "Епифанские шлюзы", Зощенко — "Голубую книгу", Булгаков в "Мастере и Маргарите" вплел современную ему Москву в контекст истории христианства, представив ее как очередное поле сражения между Богом и дьяволом. Даже какая-нибудь чисто академическая проблема — время написания "Слова о полку Игореве" — могла перерасти в идейную сенсацию, волновавшую читающую публику в течение нескольких лет.

И все же самой горячей и самой запретной темой остается в наши дни история революции 1917 года. Как это могло случиться? Кто виноват? Было ли все неизбежно или существовали другие пути? Недаром же Пастернак, оставив лирику и переводы, решил поставить под угрозу свое существование, опубликовав за границей историко-революционный роман "Доктор Живаго", а другой нобелевский лауреат — Солженицын — сделал создание эпопеи о революции делом своей жизни и сейчас просиживает часы и дни над архивами, стенограммами и пожелтевшими газетными страницами тех лет.

Вплетает революцию в свой чегемский эпос Фазиль Искандер.

О ней же фантазирует Аксенов в романе "Остров Крым".

О ней же зубоскалит неугомонный Зиновьев.

В подцензурной литературе серьезнее, дольше, болезненнее всех прорывался к теме революции Юрий Трифонов.

В повести "Другая жизнь" главный герой — историк, занимающийся предреволюционными годами, историей "охранного отделения" царской полиции.

Роман "Дом на набережной" весь пронизан историческим током, ибо наполнен персонажами и ситуациями, вылепленными революцией.

Наконец, в романе "Старик" он решился ринуться в самую сердцевину "опасной темы": в 1917-1921-е годы.

### **ГДЕ В ОБХОД, ГДЕ ВПЛАВЬ, ГДЕ ПОЛЗКОМ**

Нет смысла отдельно разбирать этот роман с чисто литературной точки зрения. Перед нами тянется все та же череда обычных трифоновских героев, выписанных внимательно, психологически убедительно и в то же время чем-то похожих друг на друга, сливающихся, как лица в очереди за картошкой, кочующих у него из повести в повесть, даже горячие поклонники таланта Трифонова не всегда могут вспомнить, где они встречались с тем или иным персонажем: в "Обмене"? в "Долгом прощании"? в "Предварительных итогах"? (Снова, как в очереди: за кем я занимал? за вами? или за вами? не вспомнить, но точно знаю, что стоял в этой очереди, что п р и н а д л е ж у ей.) И та же правдиво описанная и узнаваемая суетня убогой московской жизни, в которой (снова, как в "Обмене") борьба за несколько квадратных метров жилья, за обладание освободившейся сторожкой, становится сюжетным центром драмы. И снова, как и в других вещах, исподволь идет "следствие по делу о прожитой жизни", вспыхивают в глубине невнятные обвинения, поспешно выстраиваются навстречу им шаткие оправдания.

Новизна же — нелитературная — романа "Старик" состоит в том, что "подследственный" в данном случае — не рядовой подсоветский бедолага, а фигура, находящаяся обычно под особой, усиленной защитой цензурных церберов: старый большевик, И не просто доживающий свои годы почетный пенсио-



нер, а большевик идейный, копающийся в своем прошлом, пытающийся собрать по кускам жизнь другого борца за "светлое будущее", репрессированного еще в 1921-ом красного комкора Мигулина. Поэтому у русского читателя к этому роману был особый, лихорадочный, западному человеку во многом непонятный интерес. Читая, каждый не столько пытался проникнуться чувствами героев и предугадать их судьбу, сколько понять: как много правды о большевиках будет дозволено сказать сегодня (1978 год) знаменитому, всеми признанному, на десятки языков переводимому Трифонову? И еще: какой неправдой ему надо будет оплатить разрешение на эту правду?

Уже сам выбранный прием показывает писателя закаленным и умелым мастером противоцензурной защиты. Повествование ведется то от лица главного героя — старого большевика Павла Летунова, то от лица других персонажей, то от автора, и переходы так размыты, что Трифонову всегда остается возможность вывернуться, как бы сказать цензору-редактору: это не я — идейный и благонадежный советский писатель — вкривь и вкось толкую о гражданской войне, а мой ограниченный, приземленный, плохо осведомленный персонаж. Прием срывает победы Трифонова в этом изматывающем противоборстве конкретны и несомненны.

Например, известно, что стихийные бедствия, эпидемии, катастрофы стоят чуть ли не во главе списка запрещенных тем, вручаемого каждому цензору в Советском Союзе (см. Роберт Кайзер, "Россия: власть и народ".) А в романе "Старик" действие разворачивается под гарью знаменитых лесных пожаров, которые бушевали вокруг Москвы в течение нескольких недель летом 1973 года и о которых в газетах не было ни слова.

Ни в Большой советской энциклопедии, ни в Энциклопедическом словаре не найдет читатель имени Льва Давидовича Троцкого. (Есть, правда, другой Троцкий — Ной Абрамович, советский архитектор.) А вот Трифонову разрешено было упомянуть это страшное имя не один раз. Да еще с указанием

чина — "Председатель/ РВС" (с. 160).<sup>\*</sup> То есть выдавая великую, всему миру известную, а советскому человеку — нет, — тайну, что победоносным главнокомандующим красными силами в гражданской войне был тот, кого объявили самым заклятым врагом коммунизма, "иудушка Троцкий" (еврей к тому же).

Наконец, само совмещение двух временных пластов — сегодняшнего дня и давнишних революционных лет — рисует такую невеселую картину, что снова приходится удивляться тому, как роман был разрешен к печати. Ибо вот мы видим, как безжалостно люди убивали и мучили друг друга, как брат расстреливал брата ради счастья грядущих поколений, и тут же на следующей странице читаем мастерское описание наступившего, нагрывшего "счастья": придавленный, безрадостный быт, заполненный склоками, бедностью, одиночеством, доносительством, клеветой, мелким жульничеством, застарелой ненавистью и неусыпно тлеющим страхом, где люди идут на любой обман и подлог ради полуразвалившейся сторожки, поливают грязью друг друга, стреляют собак, а надо всем висит душное облако гари от сжираемых огнем лесов.

Что и говорить — страшно. Неутешительно. Тоскливо. Идейно непроходимо.

Однако вот — прошло.

## НЕ ВСЯКО СЛОВО В СТРОКУ ПИШЕТСЯ

Историко-революционная часть романа построена вокруг судьбы красного командира Мигулина. Бывший казачий офицер был разжалован в свое время за строптивость, но во время Германской войны вернулся в армию, награжден за храбрость. В гражданскую примкнул к большевикам, успешно воювал против белых войск генерала Деникина, пользовался большим авторитетом у донских казаков северных областей, получил под командование корпус. Однако в августе 1919-го

<sup>\*</sup> Трифонов Ю. Старик, М., изд-во "Советский писатель", 1979, с.240. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте.

вопреки прямому запрещению Реввоенсовета Южного фронта повел корпус из тыловых районов в прифронтовые. Зачем? Впоследствии на суде (корпус по дороге таял, был перехвачен, весь командный состав арестован и предан суду) Мигулин уверял: сражаться с белыми. Обвинение же приводило факты: прямое неподчинение приказам красного командования, аресты комиссаров, воззвания к населению, окрашенные антибольшевистским духом, военные действия против красных частей, пытавшихся остановить продвижение корпуса. Вывод: измена, вооруженный мятеж. Суд приговорил к расстрелу. Так погиб знаменитый красный казачий командир.

Или, по крайней мере, именно в таком виде запоминается история Мигулина после первого прочтения романа.

Лишь припомнив случайно, что нет — ведь была сцена, в которой из Москвы приходит весть о помиловании, — соображаешь, что расстрелян Мигулин был не за этот мятеж. За что же тогда? И главный герой Павел Летунов все копается в обстоятельствах 1919-го. Какой же смысл, если там все ясно: осужден и помилован. Почему не копаться в той истории, которая не имела счастливого конца?

События гражданской войны представлены в хронологическом беспорядке, в виде отдельных картин, вспыхивающих в памяти старого большевика, — обрывочно, непоследовательно, всегда с лазейкой: "а не причудилось ли". Только выписав их на бумагу, выкопав из невнятных придаточных предложений скороговоркой помянутые даты, месяцы, имена, обстоятельства, можно увидеть, как разворачивалась эта история. Что суд, так подробно описанный на страницах 196-215, состоялся в Балашове, в октябре 1919-го. Что после помилования (с.220-222) Мигулин был демобилизован, но уже в январе 1920-го возвращен на военную службу; снова арестован со всем штабом в феврале 1920-го, после убийства комиссара Шигонцева (об этом сказано в самом начале, на стр.19, когда читатель понятия не имеет, куда приткнуть это событие); потом к этому второму аресту — прыжок через 220 страниц, практически — через весь роман, и на стр.237: "...комиссия от Ревтрибунала фронта не находит улики, опять

он на коне, в войсках Фрунзе вместе с Блюхером и Буденным громит Врангеля. Перекоп, станция Воинка, Джанкой, почетное оружие и орден Красного знамени..." И лишь в самом конце романа, на двух предпоследних страничках (238-39): февраль 1921-го, третий арест в станице Михайлинской, обвинение в участии в казачьем заговоре, показания провокаторов, упоминание о новом следствии... Дальше оборвано.

Что это? Композиционный недосмотр? Вряд ли. Слишком опытен автор, слишком привержен традициям реалистической прозы, чтобы начать рассказ о судьбе героя и потом так скомкать, оборвать.

Может быть, не удалось дознаться, что было на самом деле? Ведь Мигулин написан с реального исторического персонажа — комкора Миронова, — и, может, автор просто не хотел выдумывать факты, которых не знал? Но, с другой стороны, известно, что Трифонов поднимал горы архивных материалов, консультировался со специалистами-историками. Дотошно описаны все перемещения Мигулина-Миронова в течение 1919-21 годов, все должности, которые он получал, все награды, все города и станицы, которые завоевывал. А о суде, оборвавшем его жизнь, о людях, погубивших его, — ничего неизвестно?

Или это просто пробелы в памяти героя-рассказчика — Павла Летунова? Мог же старик, загонявший в глубины подсознания свое чувство вины перед Мигулиным и его молодой женой (в которую он был с детства влюблен), забыть о подробностях последнего рокового суда. Но вот на последней странице, уже после смерти старика Летунова, появляется аспирант-историк, пишущий диссертацию о Мигулине, который произносит многообещающие слова об истине: "Бывают времена, когда истина и вера (разрядка этого странного противопоставления моя, — И.Е.) сплавляются нерасторжимо, слитком, трудно разобраться, где что, но мы разберемся". Но и от историка не узнаем мы ничего важного. Лишь то, что Летунов дал на последнем суде показания — малосущественные, не могущие ничего изменить — против Мигулина.

И постепенно из всех недоумений возникает подозрение: да не выкручивается ли здесь уважаемый автор? Не открылось ли ему в процессе архивно-исторических изысканий, что дело было заведомо липовое? Что уже тогда, в 1921-ом, а не в 1937-ом, как принято считать после хрущевских разоблачений, гигантская карательная машина начала заглатывать своих и чужих без разбору, просто потому, что она, раз будучи создана, простаивать "без сырья", без дел и приговоров не может? И не выгораживает ли писатель кого-то, на кого тень ему бросать строжайшим образом не велено?

Тем более, что подозрение это вспыхивает куда как часто и по поводу других исторических эпизодов, густо рассыпанных в романе.

### **"БОЛЬШЕВИКИ ЗРЯ НИКОГО НЕ УБИВАЛИ!"**

Этот тезис подсовывается читателю на протяжении всего романа. (Автором? Павлом Летуновым? Но легко ли читательскому восприятию держать этих двоих разделенными?)

Вот апрель 1917-го. "По Невскому идут вооруженные рабочие завода Первиайнена со знаменем: "Долой Временное правительство!" Им навстречу с Литейного сползает демонстрация студентов, офицеров, каких-то хорошо одетых дам, несут знамя: "Да здравствует Милюков и Временное правительство!" С крыши бросают камни. Непонятно, в кого" (с.41). Ну да: могли ведь и "хорошо одетые дамы" взобраться на крыши и швыряться камнями в мирных вооруженных рабочих.

Отец Павла Летунова в споре с матросом Саввой Ганушкиным "называет матросов бандитами, не Савву, а тех, кто убил Шингарева и Кокоскина. Матросы убили их в Мариинской больнице. "За анархистов не отвечаю, — шепчет Савва. — Сам бы их удавил" (с.53).

Свалить всю кровь на анархистов — это давнишний прием коммунистической пропаганды. (Вспомнить, например, "Оптимистическую трагедию" Вишневого.) И он используется в романе многократно.

"Отряд, который занимался тут контрибуциями, был анархистский, — говорит Шура. — Советская власть не имеет к нему отношения" (с.72).

Если какой-то из членов ревкома, кто-то из большевистских комиссаров совершает явные злодеяния, то есть грабит народ и расстреливает без суда мирных жителей, рано или поздно обнаружится, что был он не настоящим коммунистом. Очень беспощадную линию гнет член ревкома Федя Усмарь, кричит на старого учителя, пришедшего просить за арестованных сыновей: "...Обнаружился, гад! В расход его!" (с.72). И тут же, на следующей странице сказано про жестокого Усмаря: "Вскоре открылось — агент белых" (с.73).

Командир Стального отряда Моисей Браславский не знает жалости, расстреливает по малейшему подозрению десятками; но уже на странице 89 мы узнаем, что вскоре он сам был расстрелян ЧК за перегибы. "Вместе с ним расстреляли еще пятерых. Весь Стальной отряд раскидали кого куда — кого в тюрьму, кого на фронты" (с.89).

А вот красные врываются в Ростов "под Рождество, накануне двадцатого года. И был какой-то дом, двор, музыка из окна, стрельба вдоль улицы, и офицер с девушкой целуются" (с.177). Поцелуи под выстрелами — ну чем не "Знак Зорро", не "Фанфан-тюльпан"? Но водевиль не держится долго, сразу переходит в пропагандистский фарс: "Боец его тут же в момент порешил. Тот вздумал шум поднять. А молчал бы — был бы жив". Да, вот какие у нас бойцы были гуманные: кто с девушками целовался и шума не поднимал, тех не трогали.

Но чем же в это время занимаются главные герои, замечательные большевики Павел Летунов (рассказчик) и его дядя, несгибаемый старый каторжанин Александр Данилов? О, только одним: защищают справедливость. То Данилов до хрипоты спорит с другими ревкомовцами и ревтрибунальцами, отстаивая чью-то невинную жизнь (с.72, 79); то Летунов бежит, сжимая в кармане наган, убить злодея Браславского (с.88); то снова Данилов, собирается "писать Ильичу" с просьбой отменить слишком крутую и опасную директиву о раска-

зачивании (с.79); то он же отказывается принимать участие в суде над Мигулиным, потому что еще до суда (какое попрание презумпции невиновности!) Троцкий опубликовал статью, в которой объявил подсудимого изменником.

Многие персонажи романа говорят о Данилове и Летунове с восхищением и уважением. И никто, нигде — даже какой-нибудь заклятый враг — не скажет, не обозначит прямым словом того, к чему сводилась их деятельность в годы гражданской войны. К палачеству.

## **ВСЕ ЗЛО РЕВОЛЮЦИИ — ОТ ИНОРОДЦЕВ**

Многие диссиденты в своих воспоминаниях о лагере рассказывают, что большинство уголовников, с которыми им доводилось сталкиваться, глубоко убеждены в том, что не только все прокуроры и судьи, но и все члены Политбюро — ж и д ы . "Да вы посмотрите на лица, на фамилии, — говорят им. — Где вы там увидели жидов?" — "Лица и фамилии ничего не значат". — "А что же тогда?" — "А то, что русский человек не может срока лепить и за проволокой держать".

Русский человек хорош и добр, но есть у него одна слабость: доверчив. Так что если и делает что-то плохое, то его либо черт обманул-подбил, либо жид, либо немец.

Эта логика так целительна для чувства национальной гордости, что не только невежественный зэк поддается ей. Все шире распространяется она и среди мыслящих людей как в России, так и в эмиграции, все прочнее выстраивает в умах историческую концепцию: пришла в 1917-ом с гнилого Запада чуждая русскому народу идея коммунизма и при помощи кучки зловещих заговорщиков-большевиков, при помощи латышских, чешских, венгерских, китайских штыков, при помощи еврейско-чекистских маузеров навязала себя невинному и доверчивому русскому человеку.

Эмоциональный накал в отстаивании этой концепции так

силен, что все исторические факты, опровергающие ее, отмечаются с порога. Не замечается и то, что такой способ защиты унизителен, Ибо одно дело сказать: гигантский социальный и экономико-технологический кризис застал такой-то народ политически незрелым, духовно неподготовленным и это обернулось трагедией. (Коммунизмом — для русских и китайцев; фашизмом — для немцев и итальянцев.) В трагедии может быть горечь, боль, отчаяние, но в ней нет ничего постыдного — какая нация прошла исторический путь без трагедий? Утверждение, что 30 тысяч заговорщиков под руководством Ленина смогли обмануть и подчинить себе 170-миллионный народ, должно было бы казаться просто оскорблением для чувства национального достоинства.

Ан нет — не кажется.

Тысячи людей по обе стороны русской границы с какой-то ожесточенной радостью привязываются к этой идее.

И Юрий Трифонов в романе "Старик" проводит и отстаивает ее с несвойственной ему прямолинейностью, почти грубостью.

Все "положительные" герои — Павел Летунов и Александр (Шура) Данилов, Ганушкин и Мигулин, жена Мигулина Ася и ее брат Володя — чистокровные русаки. А кто же гонители и губители Мигулина? Во главе всех — еврей Троцкий. Прокурором на суде — некто Янсон (балтийское происхождение которого отмечено на с.206). Корреспондент реввоенсоветовской газеты с такой сложной фамилией (то есть нерусской), что все зовут его просто Лев (с.197) — он тоже требует суровых кар "изменнику". Даже у дверей последнего суда стоит не просто красноармеец, а "черныш в дубленом тулупе, с маузером в желтой коробке". (Из словаря Даля: "Черныш — весьма смуглый человек".)

А кто занимается реквизициями, рассказыванием, расстрелами? Комиссар-австриец (с.70), еврей Наум Орлик (с.64), латышские стрелки (с.17), Федя Усмарь с лицом "калмыцкого типа" (с.72), китайцы, венгерец, опять латыши (с.81). Ну и, конечно, главный злодей-расстреливальщик — Моисей Браславский. Приводятся и корыстные мотивы его свире-

пости: мстит за семью, погибшую в Екатеринославском погроме в 1905 году (с.80).

Что толкнуло тонкого и талантливого писателя на включение в роман такой топорной националистической пропаганды? Не было ли это тоже уплатой необходимой дани цензуре? Ибо, хоть и не в открытую, официальная советская пропаганда, отложив в нафталин лозунги интернационализма, тоже пытается теперь играть на патриотическом чувстве. Правда, по сравнению с пропагандой национально-антикоммунистической, она выглядит менее убедительной, ибо делает существенный сдвиг: революция 1917 года была не катастрофой, а, наоборот, величайшим событием мировой истории и главным подвигом русского народа, а если что и было в ней плохого и жестокого — то от иноземного влияния. Многие чиновники, засевшие в литературных редакциях, очень поощряют писателей изображать революционное прошлое в этом ключе.

Но, с другой стороны, сама страстность и настойчивость, с которой проводится идея в романе "Старик", заставляют подозревать, что Трифонов принял ее горячо и искренне. И это представляется особенно странным, когда вспоминаешь, с какой предательской откровенностью проступало в его внешности полуеврейское происхождение: курчавостью, толстогубостью, близорукостью. Или потому так и пришлось ему по сердцу идея, что она — по каким-то неведомым законам психологических аберраций — совпала с чувством вины, которое его еврейская половина испытывала перед русской?

Теперь мы этого уже не узнаем.

## ТОРГ С ПРЕИСПОДНЕЙ

Если бы кто-то задумал написать диссертацию о способах прорыва и обхода цензурных препон, роман "Старик" мог бы быть использован как источник многих замечательных примеров — хитрых уловок, обтекаемых оборотов, зашифрованной информации, опасного подтекста. Взять хотя бы набор инсказаний, посредством которых упоминается пребывание героя на архипелаге ГУЛАГ.

"Вдруг на лесоповале в Усть-Камне один сивобородый, старенький спросил шепотом" (с.91; разрядка в цитатах моя, — И.Е.). "Потом годы прошли, разлука невольная, вернулся перед войной, жить в Москве нельзя я..." (с.104). "Галя не плакала даже тогда, когда расставались не по своей воле". "...то к чертям на кулички забрасывало, хотя и не надолго, всего на два года, ни за что, ни про что, считалось, что повезло..." (с.228).

А когда уже совсем трудно, не обойти, в ход пускается невяница расплывчатых воспарений.

"В феврале он не приезжает, потому что в конце января там (в Финляндии, — И.Е.) без его помощи затевается "заваруха" — сначала красногвардейцы, потом немцы, все там завертелось, отрезалось... и потом исчезло навеки. Столько людей исчезло. Наступает великий круговорот: людей, испытаний, надежд, убивания во имя истины" (с.55). То есть не скажешь ведь впрямую, что отбились финны от большевиков в 1918-ом и в 1939-40-м непостижимым образом отбились, и в 1943-44-ом, и до сих пор единственные из всех народов бывшей Российской империи — главное чудо новейшей истории — не под большевиками. В ход пускаются безличные "исчезло", "великие круговороты".

Или в том же роде на с.81: "Свиреп год, свиреп час над Россией... Вулканической лавой течет, затопляя, погребая огнем, свирепое время... И в этом огненном лоне рождается новое, небывалое". Не сказано ведь — "прекрасное"; а "новым, небывалым" может быть и неведомый анналам мировой истории деспотизм.

"Мигулин погиб оттого, что в роковую пору сшиблись в небесах и дали разряд колоссальной мощи два потока тепла и прохлады, два облака величиной с континент — веры и не веры я..." (с.170). Решай сам, читатель, с чьей стороны была "вера", с чьей "неверие" и в чем они заключались.

Почти в самом начале романа герой-рассказчик произносит слова, которые хотел бы, наверно, сказать о себе и Трифонов: "...Я всегда делал то, что мог. Я делал лучшее из то-

го, что мог. Я делал самое лучшее из того, что было в моих силах" (с. 20).

И это было бы справедливо в отношении его лучших повестей. Хотя и они написаны с подчинением главному цензурному требованию "не упоминать о самом больном", тематика их — советский быт, повседневная жизнь — в какой-то мере такую уступку оправдывают. Бывает же, что близкие продолжают говорить о дорогом им человеке, потому что любят и ценят его, но при этом молчаливо уславливаются не упоминать о том, что у него — рак.

Но когда писатель берется за темы русской революции XX века, все меняется. Столько боли, крови, преступлений, невинно замученных, уморенных голодом, ошельмованных, изгнанных, искалеченных, и так это все близко; столько преуспевших доносчиков и залитых кровью палачей разъезжает в сверкающих "Чайках" по Садовому кольцу и Невскому проспекту; столько ловких лгунов продолжают раскидывать пропагандистские сети по всему миру, ловя в них усталых, раздраженных, обиженных судьбою людей, что продолжать игры и сделки становится невозможно. Все претензии литературного произведения на решение "моральных проблем", на разбор "прожитой жизни" оказываются в предлагаемой цензурой ситуации несостоятельными, смехотворными. Это все равно что согласиться пересматривать дело какого-нибудь заведомого убийцы, какого-нибудь "Сына Сэма", под условием, что четырнадцать застреленных им женщин не упоминаются вообще, а речь должна идти только об украденном между убийствами автомобиле. Украл он в момент отдыха от основного занятия автомобиль или не украл? Сказал Павел Летун следователю-чекисту, что считает Мигулина способным на участие в контрреволюционном восстании или не сказал?

Становится стыдно.

Ибо в этот момент, закрывая роман, понимаешь, что все мелкие выигрыши, все тактические победы писателя в противоборстве со всемогущей Ложью оказались иллюзорными. Что для того они и были нужны, чтобы вовлечь его в игру, втянуть в безнадежный бой, приманить надеждой на победу.

Что побед в торгах с преисподней не бывает. Что, какой бы выгодной ни казалась предлагаемая сделка, по сути она остается той же, что всегда; сделкой Фауста, Ивана Карамазова, Адриана Леверкюна. Что победить можно только словом "изыди от меня".

У Юрия Трифонова в романе "Старик" душевных сил на "изыди" не хватило.

Это особенно горько оттого, что теперь уже он эту ошибку не исправит.

Это особенно горько тем, что Министерство Правды получило свою добычу и успешно торгует живой душой писателя, продавая роман на Западе, давая возможность всем неискушенным читателям и доверчивым литературоведам в процессе "чисто литературного анализа произведения" заглотив и все идеологические наживки, столь густо рассыпанные в нем.

"Я делал лучшее из того, что мог..."

Но не было ли самым лучшим в ситуации российской литературной действительности конца 1970-х вообще не делать — не писать подцензурный роман о революции?

Усталый, надломленный годами травли Булгаков написал панегирик Сталину — пьесу "Батум". Ахматова и Мандельштам находились в ситуации смертников, когда поддались минутной слабости и написали стихи, посвященные "великому кормчему". Юрий Трифонов был на вершине славы и успеха. Ни жизненной, ни тем более творческой необходимости писать роман "Старик" у него не было.



## Я НЕ БИЗНЕСМЕН, Я — ХУДОЖНИК

*Интервью Беллы Езерской с Михаилом Вербовым*

... Удивительное рядом... В толчее, в суматохе, в круговерчении повседневной жизни проходишь мимо него, не узнавая, а узнав — не спешишь насладиться, все откладывая и откладывая на неведомую свободную минуту, которая никогда не наступит, а если наступит, то — увы! — слишком поздно.

Я встретила Михаила Александровича Вербова на одном из вернисажей. Он стоял посреди салона, опершись на палку, — величественный, как патриарх, барин, живое воплощение эпохи, которую почему-то называют тургеневской (хотя жили и творили в ней и Толстой, и Салтыков-Щедрин, и многие другие) — и от которой веет сладким ароматом цветущих лип и запущенных усадеб. Он высился таким анахронизмом посреди современного Вавилона, а вокруг него толпились люди и почтительно внимали его рокочущему бархатному баритону.

— Ну, как же, писал — и Шаяпина, и Бунина, и Гречанинова, и Собинова. Да только ли их. Спросите лучше, кого я

не писал. Да что же вы хотите, батюшка, ведь я — последний из живых учеников Репина! Сколько вы думаете мне лет?

Как выяснилось, лет ему было немало — 86. Но он явно кокетничал этим обстоятельством, потому что никто не давал ему его возраста.

Ходит по нью-йоркским улицам живая история России, русского искусства начала XX века — и никого это не волнует. Небось там бы уже и книги о нем написали и диссертации. (Другое дело — что бы написали.) А тут — за четыре года хотя бы заметку в русской газете...

Огромная квартира-мастерская Вербова на 110-й улице, вблизи знаменитого Кафедрального собора, являла гибрид холостяцкого жилья и запасников Третьяковки. Стены сплошь в фотографиях знаменитостей — друзей и знакомых хозяина. Юная Лиз Тейлор — с ее отцом, владельцем картинной галереи, Вербов был дружен. Бенъямино Джильи. Тито Руффо дает хозяину урок пения. Молодой Вертинский. Молодой Можухин — это имя говорит так много лишь сердцам сегодняшних прабабушек, некогда умиравших по герою-любовнику немого кинематографа. Вот старенький Илья Ефимович Репин. Вот знаменитый французский писатель-юморист Тристан Вернуа. Вербов на сцене Карнеги-холл — он оказывается еще и обладатель великолепного баритона. Он и в театре играл — вот фотография его в роли казачьего вахмистра. Красавец! А вот нечто неожиданное: хозяин запечатлен вместе со... шведским королем Густавом. Кажется, достаточно.

Смысл надписи на бунинской фотографии ("Я тут — чудовище, на портрете — прелесть") я поняла, едва войдя в мастерскую. На меня глянуло тонкое, желчное, аристократическое лицо. Светло-голубые со стальным отливом глаза почти прозрачны. Бунин 1951 года — великий писатель, переживший первую волну своей славы, проевший последние тысячи своей Нобелевской премии... Видимо, это тот самый портрет, где он — "прелесть". Не знаю, дело вкуса, но нелегкий, деспотичный характер схвачен и явлен художником без всякой лести. Как, впрочем, и его значительность большого мастера. В портрете есть, впрочем, одна странность: срезана кисть правой руки, словно не уместилась на полотне.

В е р б о в. Он мне не разрешил писать свою руку. Говорил, что руки у него старые, морщинистые и более всего выдают его возраст.

Е з е р с к а я. Расскажите, как вы писали этот портрет.

В е р б о в. Это было в Париже. Я только что приехал по своим делам и пошел поклониться Бунину. У меня, конечно, была тайная мысль — написать его, но я знал, что он не любит позировать и поэтому не очень надеялся. Кстати, он даже от Репина сбежал.

Е з е р с к а я. Как это — сбежал?

В е р б о в, смеясь. Очень просто. Сбежал утром, перед самым сеансом. Оставил записку, что у него какое-то срочное дело. Репин его, наверное, угостил супом из сена на своей "среде". А Бунин был известный гурман. Вот он и испугался. Да, так вот, я ему и говорю: "Иван Алексеевич, нельзя, чтобы вы ушли из жизни без портрета. Тем более что вы — лауреат Нобелевской премии. Неважно, кто вас напишет — я ли, другой ли художник, но кто-нибудь должен сделать ваш портрет". Он только рукой машет: "Сейчас никто не умеет писать портретов". — "Только ли в этом дело?" — спрашиваю. "Да, конечно, — отвечает Бунин и показывает мне на фотографию с портрета Марка Алданова моей кисти. — Вот найди я этого художника — ему бы я согласился позировать!" — "В чем же дело, — говорю, — когда же начнем?"

Е з е р с к а я. Он, видимо, разыгрывал вас?

В е р б о в. Нет, он действительно не знал. Алданов жил постоянно в Париже, я — в Нью-Йорке. Он нас как-то не соединял. Словом, он согласился позировать. У меня было всего шесть дней. Зная, как любит Бунин вкусно поесть, я приходил на сеанс, нагруженный закусками — икоркой, балычком. Ну и, конечно, с водочкой. Это очень облегчало работу. Я работал со скоростью самолета. Поэтому я, к сожалению, не успевал записывать за ним. А надо бы. Потому что говорил он без умолку и очень интересно. Но ужасно зло. Всем досталось, никого не забыл, кроме Чехова. Его он любил. Портрет Бунину очень понравился. Но руку он все же не дал мне дописать, хотя я и очень просил. Ну, ничего, дорисую. Сделаю другой портрет — с рукой.

Недавно я увидела этот "другой" портрет — Вербов только что закончил его. Этот Бунин был с рукой, как обещал Вербов, но значительно моложе. И как-то спокойней что ли, благополучнее. Исчезли следы желчи и раздражения. Лицо стало глаже, розовой. Вербов усадил своего героя на открытой веранде с видом на Ривьеру (он всегда любил Ривьеру — почему бы ему не доставить это удовольствие?). Художник смотрел на омоложенного Бунина, как мать смотрит на свое выхужженное дитя: любовно и нежно. Я честно призналась, что старый и злой Бунин мне больше по душе, хотя "новый" и был отмечен Золотой медалью.

Е з е р с к а я. А Куприна Вам не приходилось писать?

В е р б о в. Нет, мой друг-скульптор лепил его бюст. Он ведь потом вернулся? Тогда многие возвращались. Советы сманивали, обещали золотые горы. Мне тоже обещали профессорство. Вася Шухаев стал профессором на один год, а потом его арестовали. Дали десять лет.

Е з е р с к а я. А вы почему не вернулись? Вы же не эмигрант.

В е р б о в. Да, я, скорее, невозвращенец. Я уехал за границу учиться. Я собирался учиться до-о-олго.

Е з е р с к а я. Как же вас отпустили?

В е р б о в. О, это длинная история. Мне надо было помочь дочери Репина, его внукам и правнукам получить разрешение приехать к нему в Пенаты на его восьмидесятилетие. Пенаты тогда находились в Финляндии. Единственный человек, который мог это сделать, был Дзержинский. И он это сделал. Впоследствии, по настоянию его сотрудников, я написал его карандашный портрет. Может быть, это сыграло какую-то роль в моей судьбе, но на одиннадцатый раз я получил наконец разрешение и заграничный паспорт. В течение двух дней я получил все необходимые визы и — исчез: шутить с ними не следовало, они часто возвращали людей с границы. Словом, когда поезд пересек границу я — непьющий человек — на пограничной станции выпил залпом две рюмки водки. На радостях.



Езерская. Куда вы ехали?

Вербов. В Париж. Но тогда еще не было дипломатических отношений с Францией, поэтому получить визу было невозможно. Я болтался по Берлину в отчаянии, и снова меня спасла счастливая случайность: я узнал, что большой друг нашей семьи и мой учитель французского языка, меье Костанье, заведует русским отделом в Париже в министерстве иностранных дел. Я тут же дал ему телеграмму и на следующий день мне выписали пропуск на свободный въезд в страну. Я тут же поменял его на "нансеновский паспорт".

Езерская. Что это за "нансеновский паспорт"?

Вербов. Это был паспорт Лиги Наций для лиц без гражданства. В Париже я прожил девять лет. Уехал оттуда в Нью-Йорк в 1933 году.

Езерская. Из-за прихода к власти фашистов?

Вербов, словно удивившись такому сопадению. Да, действительно. Но нет, я уехал не поэтому. Так получилось. К этому времени я был довольно известный художник и мог позволить себе наконец отпуск на Ривьере. Перед отъездом я собрал друзей на небольшую вечеринку. Среди них было два американца-журналиста. Один из них и говорит: "Зачем тебе ехать в Канны? Ты увидишь там те же постные физиономии, которые ежедневно наблюдаешь здесь". ("Великая депрессия" пришла в Европу намного позже). А куда же мне ехать; — спрашиваю. "Поезжай-ка ты лучше в Америку". Так я попал в Америку. Только билет пришлось взять в оба конца.

Езерская. Как доказательство, что вы вернетесь?

Вербов. Я и не думал оставаться. Почти полтора года я не сдавал свою студию в Париже. И вот я здесь уже пятьдесят лет. И уже сорок пять лет, как я — гражданин Соединенных Штатов.

Езерская. Какой вам показалась Америка после Парижа?

Вербов. За-ме-ча-тельной! Никто не говорил мне "грязный иностранец". Никто не спрашивал меня, кто я и откуда и что делаю здесь. А в Нью-Йорке было тихо и спокойно. Ах, мой друг, вы не знаете, каким был тогда Нью-Йорк!

Езерская. Вы давно живете в этой квартире?

Вербов. Лет пять. Какая-то странная квартира — длинный коридор делит ее пополам. Там, направо, еще две комнаты. И все равно — тесно. Там — спальня и архив. Архив у меня огромный. Письма, фотографии.

Езерская. Просто вам надо было, видимо, отделить мастерскую от жилья.

Вербов. Нет, нет, я должен жить при студии. Иногда и ночью пишу, мне надо, чтобы все было под рукой. Вот прежняя моя студия была великолепная. Я прожил там 33 года — как в сказке. Та студия была в "Доме художников", на углу Централ Парка и 67-ой улицы.

Езерская. Почему же вы оттуда съехали? Дорого?

Вербов. Нет, не в этом дело. Дом превратили в кооператив. Нужно было сразу внести сорок тысяч, таких денег у меня не было. Тяжба продолжалась пять с половиной лет. По этому поводу в "Нью-Йорк Таймс" было две большие статьи. Интервью со мной транслировалось по четырем каналам телевидения. Я сказал, что эти люди буквально подкосили мою карьеру. Что я не ожидал, что, уехав из России, я снова подвергнусь унижениям и оскорблениям в Соединенных Штатах. Вот так все это и произошло, и я очутился на сто десятой улице.

Езерская. Кому вы завещаете свой архив?

Вербов. Ах, знаете, этот вопрос волнует меня больше всего. Он, вероятно, достанется государству. А что касается моих работ — три портрета Патриарха Вселенского, вероятно, попадут в Афины, Франции достанутся Моруа и Эдуард Вишар. России — Бунин, Гречанинов, Шаляпин. Я вел с ними переговоры о покупке этих работ, но с Афганистаном все прекратилось. Я знаю, что им нужны эти работы.

Езерская. Им вообще ничего не нужно. Сомневаюсь, чтоб портрет эмигранта Бунина в исполнении эмигранта Вербова занял почетное место в Третьяковке. Скорее всего, будет пылиться в запасниках.

Вербов с тоской. Не думаю. Они же платят за это золотом. И у них нет ни одного портрета Бунина.

Езерская. Ах, Михаил Александрович, дорогой, давно вы уехали из России! Вы уже все забыли. Когда вы были в России последний раз?

Вербов. В 1979 году. Дело в том, что в 1974 году яшел наконец своих сестер, которых считал уже потерянными. Я был в России трижды — в семьдесят четвертом, семьдесят седьмом и в семьдесят девятом годах.

Езерская. Как вас приняли?

Вербов. О, приняли меня просто замечательно! Как-никак профессор, академик живописи. Послали ко мне из Москвы в Ташкент журналистку — взять интервью.

Езерская. Интервью о чем?

Вербов. О, совершенно аполитичное. Я всегда стоял в стороне от политики. Об искусстве, о людях, с которыми мне пришлось встречаться. Но они меня обманули!

Мне послышались в его голосе слезы, и он вдруг стал похож на большого и обиженного ребенка. И я услышала о том, как он поехал в гости к сестре. В Советский Союз. И как дальше все развивалось в соответствии с канонами трагифарса, когда честный и к тому же деликатный человек попадает в общество уголовников. Художник пал жертвой хорошо продуманной провокации. Как водится, к нему прислали корреспондента. Конечно, он не мог отказаться — боялся за сестер. Старался говорить только о литературе и искусстве. Интервью обещали напечатать в "Огоньке" или журнале "Искусство" — чтоб его могли прочитать побольше советских людей, которым это будет интересно. А вместо этого напечатали в журнале "Отчизна", издающемся за рубежом и являющемся приложением к газете "Голос Родины", печально известной своими антиамериканскими инсинуациями. Словом — в кагэбистской печати. Помимо всего прочего, в этой газете были напечатаны гнусные антисемитские выпады против его друга-редактора в Нью-Йорке — Андрея Седых. Возмущенный художник написал в редакцию "Голоса Родины" гневное письмо. Оно, разумеется, не было напечатано. Думаю, что над наивностью старого мастера вдоволь повеселились "искусствоведы в штатском".

Михаил Александрович Вербов — художник добротной академической школы, непревзойденный мастер реалистического, психологического портрета. Его лучшие работы отличает гармоническая ясность и завершенность. Особенно хороши в его портретах глаза: выразительные, глубокие, глядящие, что называется, в душу. Излюбленный материал Вербова — масло, но очень часто он применяет для портретов карандаш и сангину. Именно в этой технике сделана уникальная коллекция, приуроченная художником к 200-летию Соединенных Штатов.

Вербов. Я решил написать портреты тех 56-ти членов Конгресса, которые подписали Декларацию Независимости. Портреты отцов государства. И в том возрасте, в каком они подписывали ее. Сложность заключалась в том, что у меня не было достаточно хороших изображений. Вот, например, Чарлз Картер оф-Карлтон. Сохранился единственный портрет, где ему 86 лет, а в момент подписания Декларации ему было 39. Вот Джон Харт из Нью-Джерси. Ему было 60, а я воспользовался изображением, где ему 20. Ричард Генри Ли. 45 лет. До нас дошел единственный портрет, да и то в профиль, сделанный, когда ему было 63 года. Мистер Витт. Его портрет я делал... по карикатуре. И так далее. Я нарисовал пять портретов одного только Джефферсона! Вернее, пять вариантов одного портрета. Он был очень хорош собой и это, как ни странно, мешало выбрать нужное выражение. Четвертый вариант показался мне слишком романтическим. Я сделал пятый, который наконец удовлетворил меня. Здесь Джефферсон — больше государственный деятель.

Езерская. Мне больше нравится четвертый.

Вербов. Всем женщинам нравится. Я лично предпочитаю последний. Дело в том, что на портрет нельзя просто смотреть: в него нужно всматриваться. Чем дольше вы будете всматриваться, тем явственней будет проступать характер.

Езерская. А кого из известных людей вы писали с натуры?

Вербов. О, в этом смысле мне везло. В своей жизни я

писал пятерых королей. И не единожды, а на протяжении всей жизни. Кароля Румынского я писал четыре раза. Густава Шведского — семь раз. Королеву Александру, жену Петра Югославского мне тоже довелось писать. Последнего испанского короля Альфонса я писал незадолго до его свержения. Портрет купил герцог Альба, так как к тому времени Альфонс был уже низложен. Самого Альбу я писал в 1980 и 1981 годах. Как видите, совсем недавно, Я отказался от денег, когда у меня хотели купить этот портрет для музея Прадо и передал его в дар музею. Я — единственный живописец-художник, представленный в Прадо. Мое имя выбито в числе имен других знатных дарителей на мемориальной доске на фасаде здания.

**Езерская.** Как вам запросто удавалось проникать к королям? Поделитесь опытом.

**Вербов.** смеясь. А знаете, вы не первая, кто спрашивает меня об этом. Я обычно отвечаю на этот вопрос так, "Это очень просто. Я прихожу во дворец, разгоняю стражу, хлопаю короля по плечу и говорю: привет!" Это, конечно, шутка. На деле все шло через секретарей или министров двора. Короли-то ведь очень занятые люди. Когда Густав позировал мне для своего седьмого портрета, внезапно умер его брат. Он извинился и перенес сеанс на день похорон. Он был самой демократической из моих королевских моделей, и к нему с полной мерой можно отнести слова: "Точность — вежливость королей".

**Езерская.** Если оставить королей в покое — кто ваша любимая модель?

**Вербов.** У меня их много. Вот, например, Патриарх Вселенский Афинагор. Я писал его три раза. Необычайно интересный был человек — умница, эрудит, и, при этом, необыкновенно доступный, скромный, воистину — "первый среди равных". Или вот Кришнамурти. Знаменитый индусский ученый, философ, писатель. В первый раз я его писал совсем молодым — в Париже, в 1928 году. Посмотрите, какое одухотворенное лицо! Он вообще обладал какой-то сверхъестественной притягательностью. Он выступал здесь в Карнеги-холл.

Зал был буквально забит до отказа молодежью. Как они на него смотрели! Я и сам был когда-то увлечен его философией, а потом разочаровался в ней. Кришнамурти проповедует свою собственную религию, согласно которой человек сам себе собственный свет и собственный Бог. От религии вы выбираете лишь то, что вам лично подходит. А сейчас он пошел еще дальше: рекомендует никому не верить, надеяться только на себя и так далее и тому подобное. Но при этом, что бы он ни проповедовал — весь его облик исполнен необыкновенной красоты и гармонии.

**Езерская.** Всегда ли вы рисуете реально существовавших людей?

**Вербов.** Вот перед вами голова Иисуса Христа. Таким я его увидел во сне. Он шел мне навстречу, протянув руки. В его глазах была тревога, и тревога эта передалась мне. Я не мог от нее избавиться, даже когда начал писать. Самым трудным было написать рот так, чтобы он не был сексуальным. В жизни Христа вообще много непонятного. Меня всегда поражало, что никто из его учеников не записывал его проповеди. Странно, что художники чаще всего изображают его муки, в то время как Христос это прежде всего идея добра.

**Езерская.** Расскажите о вашей дружбе с Репиным. Как вы стали его учеником?

**Вербов.** Репин для меня больше, чем учитель, он — мой духовный отец. С Ильей Ефимовичем познакомил меня Корней Чуковский. Он показал Репину мои рисунки, и я был приглашен в Пенаты. Это было 5 января 1914 года. Во вторник. Все знали, что Репин принимает по средам, и в другие дни его никто не решался беспокоить. Я так оробел, что меня пришлось буквально втолкнуть в комнату. Репину понравились мои рисунки, и отныне каждую среду я должен был приносить ему то, что сделал за неделю. Он все тщательно просматривал и делал замечания. Именно Репин настоял, чтобы я стал художником и учился живописи. Мои родители хотели, чтобы я получил юридическое образование или учился музыке, чтоб стать оперным певцом. Мой отец любил говорить: лучше быть плохим адвокатом, чем плохим художником. Плохого адвоката скоро забудут, а от художника останутся

плохие картины и будут долго о нем напоминать. Но авторитет Репина был настолько велик, что родители не смели перечить.

**Е з е р с к а я.** Вы не жалеете, что пожертвовали своей певческой карьерой ради художественной?

**В е р б о в.** Нет. Живопись не мешала пению. Я немного учился в Петрограде, потом в Италии у великого Тито Руффо. Я выступал на профессиональной сцене. На этой фотографии я запечатлен во время своего концерта в Карнеги-холл.

**Е з е р с к а я.** Жалею, что не была на этом концерте. Но мы отвлеклись от Репина.

**В е р б о в.** В знаменитой "Чукоккале" Корнея Чуковского — альбоме автографов, рисунков, шаржей и карикатур — вся моя биография. Моя молодость. Сейчас вышло факсимильное издание — там есть и мои рисунки: Репина, Н.Н.Евреинова, драматурга и режиссера. Самого Чуковского. Есть и мой портрет работы Репина. А каких интересных людей я там встречал! Поэтов Рюрика Ивнева, Рукавишникова, Маяковского. Помню, как он читал свою новую поэму "Облако в штанах" на даче у Чуковского, Это было дерзко, необычно, и все присутствующие с опаской поглядывали на Репина. Но Репин вскочил, закричал "браво", и все облегченно вздохнули.

**Е з е р с к а я.** Эти две фотографии Репин подарил вам еще в России?

**В е р б о в.** Нет, это было уже в 1928 году, незадолго до его смерти. Почитайте, там, на обороте — целое послание.

На обороте выцветшими чернилами острым репинским почерком со старой орфографией было написано: "Дорогой М.А., каждый день вспоминаем Вас и столько рассказов Веры из Парижа и здесь, у нас. Портрет Таси и вообще память большую Вы по себе оставили. Спасибо, спасибо Вам. От всего сердца желаем Вам успеха, и уверен, что он сторожит и не замедлит выделить Вас". На обороте второй фотографии я прочла: "Михаилу Александровичу Вербову, доблестному ры-

царю, незабвенным добродетелям — Великодушию и Бескорыстию".

**Е з е р с к а я.** Какие прекрасные слова! Кажется, они совсем исчезли из современного русского языка! Они, как и вы, принадлежат XIX веку.

**В е р б о в,** протестуя. Нет, мой друг, я принадлежу XX веку. Началу XX века.

**Е з е р с к а я.** Я имею в виду не столько хронологию, сколько дух эпохи. Скажите, пожалуйста, Михаил Александрович, с чего начиналась ваша художественная карьера?

**В е р б о в.** С портрета Южина-Сумбатова, актера Малого Театра. В 1922 году должен был отмечаться его юбилей. По рекомендации знаменитого актера В.Н.Давыдова, которого я писал незадолго перед этим, я был вызван в управление государственных театров к директору Остроградскому. А у меня был фурункулез от недоедания, одет я был в простую холщевую рубаху — вид, что называется, "на море и обратно". Остроградский смотрит на меня и молчит. Потом наконец спрашивает: "Это вы — Вербов?" — "Я". — "Вы — ученик Репина?" — "И это правда", — говорю. Словом, заказал он все-таки портрет Южина, который имел большой успех и во многом определил мою карьеру. Всего я сделал девять портретов актеров Малого театра. В музее Большого театра висит портрет Собинова моей работы; в Метрополитен-Опере в Нью-Йорке выставлен портрет Шаляпина в роли Бориса Годунова. Там же висит портрет знаменитого итальянского певца Пинза. Музей Метрополитен купил у меня в свое время портрет президента музея Вильяма Черч Осборна. В Третьяковской галерее находится портрет художника Остроухова моей работы.

**Е з е р с к а я.** Что означает эта странная надпись на фотографии Мозжухина: "Тому, кто украл мое лицо в первый раз в моей жизни. Люблю и чту Ваш талант".

**В е р б о в.** Эту фотографию Мозжухин подарил мне после того, как я сделал его портрет. Я писал его в роли Казановы в одноименном фильме. Он имел огромный успех в этой роли. В Париже даже открылось кафе "Казанова", и хозяин выпросил у меня портрет для привлечения публики. Вот фо-

тография этого портрета: аскетичный профиль, белый кафтан, пудренный парик. Сам портрет погиб во время пожара в кафе. А через четыре дня скончался и сам Мозжухин.

**Е з е р с к а я**. Какая-то мистическая связь между судьбой героя и его портретом. Почти по Оскару Уайльду, вы не находите?

**В е р б о в**. Да, действительно.

**Е з е р с к а я**. Вас всегда окружали прекрасные женщины — натурщицы, заказчицы. Были ли вы счастливы в любви?

**В е р б о в** грустно. Нет, не был. Я всегда увлекался женщинами, у которых были богатые и влиятельные мужья. Как только мои намерения становились серьезными — меня отправляли в отставку с "дружкой".

**Е з е р с к а я**. Разве вы не богаты? Вы ведь знаменитый художник?

**В е р б о в**. У меня правило: если я кого-нибудь прошу позировать — это не для продажи. И я никогда не был богат. Я ведь художник, а не бизнесмен.

## АНТИКВАРНЫЕ КНИГИ

## Э. ШТЕЙНА

**Крученых А. Рубинида. М., 1930. Обложка И.Клюна. 19 стр. Тираж 130 экз.**

**Крученых А. Иронида. М., 1930. Обложка И.Клюна. 18 стр. Тираж 150 экз.**

**Крученых А. Приемы ленинской речи. М., 1928. 3-е изд. Обложка Г.Клуцис. 63 стр. Тираж 1000 экз.**

**Крученых А. 500 новых острот и каламбуров Пушкина. М., 1924. 71 стр. Тираж 2000 экз.**

**Крученых А. Есенин и Москва кабацкая. М., 1926. 32 стр. Тираж 3000 экз.**

**Крученых А. Чорная тайна Есенина. М., 1926. Обложка В.Кулагиной. 24 стр. Тираж 5000 экз.**

**Крученых А. Сдвигология русского стиха. М., 1922. 46 стр.**

**Крученых А. Апокалипсис в русской литературе. М., 1925. 47 стр.**

**Крученых А. Против попов и отшельников. М., 1925. 47 стр.**

**Крученых А. Голодняк. М., 1922. Страницы не нумерованы. Тираж 1000 экз.**

**Крученых А. На борьбу с хулиганством в литературе. М., 1926. 32 стр. Тираж 5000 экз.**

**Крученых А. Турнир поэтов. М., 1929. 18 стр. Тираж 150 нумерованных экз. Экз. № 1. (В сб. представлены: Н.Асеев, Б.Пастернак, В.Хлебников, В.Маяковский и др. Примечания А.Крученых.)**

**Крученых А. Живой Маяковский. Разговоры Маяковского. Записал и собрал А.Крученых. М., 1930. 20 стр. Тираж 200 экз.**

**Крученых А. Разбойник Ванька-Каин и Сонька маникюрщица. Рисунки М.Синяковой, М., 1925. 30 стр. Тираж 1000 экз.**

**Крученых А. Чорт и речетворцы. С.-Петербург без года (1913?). 16 стр.**

**Хлебников В. Битвы 1915-1917 гг. Предисловие А.Крученых. Петроград, 1915. 24 стр.**

**Хлебников В. Отрывок из Досок судьбы. Лист 1-й, 2-ой, 3-ий. М. Тираж 1000 экз.**

**Хлебников В. Записная книжка. Собрал и снабдил примечаниями А.Крученых. Обложка В.Кулагиной-Клуцис. М., 1925. 31 стр. Тираж 2000 экз.**

**Хлебников В. Настоящее. М., 1926. 39 стр. Тираж 2000 экз.**

**Хлебников В. Зангези. М., 1922. 35 стр. Тираж 2000 экз.**

**Хлебников В. Зверинец. Ред. А.Крученых. Обложка К.Зданевича. Предисловие Ю.Олеши. М., 1930. 17 стр. Тираж 130 экз.**

**Затыка. Сборник. Изд-во "Гилея". (Среди авторов: В.Хлебников, Давид, Владимир, Николай Бурлюки. 14 стр.)**

**Маяковский В. Туда и обратно. Обложка А.Родченко. М., 1930, 93 стр. Тираж 3000 экз.**

**ВСЕ КНИГИ В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ И В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ФОТОКОПИРОВАНИЕ**

За справками обращаться по адресу:

E. SZTEIN

594 CHESTNUT RIDGE ROAD ORANGE, CONN. 06477. USA

Традиционно наш журнал не вступает в полемику с русскоязычной эмигрантской периодикой. Но на этот раз, публикуя полный текст статьи журналиста Григория Рыскина, напечатанный в одном из самых популярных еженедельников "Панорама", мы решили сделать исключение. Григорий Рыскин касается проблем, связанных с моралью нашей, эмиграции, моралью людей, которые вырвались из тоталитарной страны и оказались в свободном мире. Ситуация — естественно, не ординарная и заслуживающая пристального внимания печати.

## РАЗГОВОР О МОРАЛИ ЭМИГРАЦИИ

### КОГДА ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЧЕКИ...

*Точка зрения журналиста Г.Рыскина*

— Ну что ты скажешь, — сетует мой сосед-малыар, — неделю назад отремонтировал знакомому эмигранту квартиру, тот расплатился чеками; только что банк мне их вернул — на счету моего заказчика ноль, "зиро", шиш с маслом.

Только с русскими возможно такое. Три года ремонтирую квартиры американцам. С ними так не бывает. В Америке с человеком, чеки которого возвращаются, уже никто никогда не будет иметь дела.

— Странные эти русские, — сетует менеджер фирмы IBM, — и соврать-то профессионально не умеют. Только что приняли девочку на "позицию" оператора — роскошное резюме, богатейший опыт. Посадили за терминал. Работай. А она не знает, на какую клавишу нажимать. Ну какой смысл придумывать себе резюме: незнания все равно не скрыть. Многие мои коллеги предпочитают с русскими не иметь дело: сплошные бароны Мюнхгаузены.

— Не ходите в русские рестораны, — советует мой приятель, — одно расстройство, — меню, как в парижском "Максими", а начнешь заказывать — ничего иа самом деле нет.

Официант несет солянку, палец в тарелку окунув. Отведешь — соляная кислота, да и только. Узнаю тебя, Русь.

Все, казалось бы, есть: различнейшие припасы, мясо, рыба, специи. Только одного недостает.

— Чего же?

— Нравственной позиции.

...Безнравственность была в нашей стране на протяжении многих поколений единственной возможностью выживания. В годы сталинских репрессий меньше всего шансов было у честных. В войну романтики и идеалисты гибли первыми. Самое верное средство сделать вашего ребенка несчастным в СССР — научить его с детства говорить правду.

Вглядитесь в лица членов Политбюро. Какой чудовищный паноптикум. Узкие лбы, расплюснутые носы, тонкие искривленные губы, отпечаток лжи и гордыни. Придя к высшим ступеням власти, человек утрачивает все человеческое.

Лица партийных аппаратчиков, гебистов, аплодирующих делегатов съезда и демонстрантов. Лица митингующих работниц, клеймящих мировой сионизм. Миллионы отбитых пропагандой мозгов. Большевик, едва придя к власти, стал наносить удары по церкви и религии, выжигая из живой души заповеди господни, извращая, оскверняя, профанируя самые начала всечеловеческой этики.

"Вспоминаю времена нашей юности, всего нашего круга, не помню ни одной истории, которая осталась бы на совести, которую было бы стыдно вспомнить. И это относится без исключения ко всем нашим друзьям", Герцен, "Былое и думы". Кто из нас может сказать нечто подобное о временах своей юности? С детских лет, с самой зеленой поры, из нас стали формировать нравственных уродов. Мы можем осознавать наше уродство, ненавидеть себя, но ничто, даже эмиграция, не способны нас уже исцелить.

...Нравственность — одно из основных измерений человеческого мира и бытия. В целом, по природе своей человек ни зол, ни добр. Точнее, являет собой и то, и другое начало. Жизнь же идет другими путями, чем ей предписывают законы нравственности.

Великий этический философ Иммануил Кант полагает: человеку следует исполнить свой долг, что бы ему ни грозило и что бы после ни следовало из его действий. Его единственной наградой будет сознание собственной добродетели.

Мыслители экзистенциально-феноменологического направления идут по тому же пути.

— Делать свое дело, а там будь что будет, — призывает Симона де Бовуар.

Но слаб человек. Нравственное чувство не всегда может противостоять искушению, тем более насилию. Тоталитарные режимы губительны потому, что там у человека не остается выбора. Учитель, журналист, писатель каждодневно должны идти на сделки с совестью, проповедовать не то, что исповедуют.

Альтернатива? Уйти в кочегары. Стать диссидентом, эмигрировать. Ну а если семья, дети, старики-родители? Порочно общество, которое предоставляет личности единственную возможность — выпасть на дно жизни. А, впрочем, есть и вторая — изгнание.

Без свободы выбора нравственность невозможна, ибо в действиях человека нет ни заслуги, ни вины. Несправедливо его хвалить и осуждать, награждать и наказывать. Сам он порой не способен раскаиваться в своих поступках.

А если что не так, не наше дело.  
 Как говорится, Родина велела.  
 Как славно быть ни в чем невиноватым,  
 Совсем простым солдатом,  
 солдатом.

...Многие из нас твердо убеждены: честный человек в Соединенных Штатах остается в дураках.

— Ты знаешь, что сделали русские с известными курсами программистов в Манхэттене?

— Что же?

— Они развратили всех преподавателей и администраторов.

— Каким образом?

— Отныне без взятки на эти курсы на попасть.

— Можно подумать, до прихода русских американцы не брали и не давали взятку.

— Русские — ускорители морального разложения.

— Многие воспримут это заявление как кровное оскорбление.

— А знаешь, что сделали эти возмутители спокойствия с другими замечательными курсами, с теми, что давали "американский экспириенс"?

— Опять что-нибудь непотребное?

— Они раздобыли хитроумный код и стали красть у фирмы компьютерное время, употребляя его для своих нужд. Воры были уличены. Теперь ни один русский веки в эту фирму не попадет.

— Думаю, не следует обобщать. Есть и среди эмигрантов немало высоко нравственных людей.

— Самый незначительный процент.

Там, где мы, там безнравственность и ложь. Кто покупает лиценс водителя такси? Русский. Кто сдает экзамен за другого? Русский. Кто не является хозяином своего слова, кто расплачивается со своим братом-эмигрантом пустыми чеками? Там, в Союзе, боялись КГБ и ОБХСС, здесь, на воле, наша нравственная болезнь дала свои чудовищные метастазы.

— Неужели все так сумрачно и безнадежно?

— Сумрачно, но не безнадежно. Только в кругу воистину верующих можно еще найти отдохновение.

— На днях явился человек из ювелирной корпорации, — поведал мне молодой раввин. — Нужны пять толковых рабочих, не могли бы порекомендовать?

— А почему в синагогу пришли?

— В ювелирном деле нужны люди, что не украдут. А верующие — честные.

— Мой друг-американец, менеджер крупнейшей фирмы, делает успешную карьеру не только потому, что он толковый инженер, а еще и потому, что он человек нравственный, стремящийся жить по Божьим заповедям. Выгодно иметь христианина-менеджера, так как с ним репутация фирмы в глазах заказчика возрастает. Как видите, нынче на порядочных людей повышенный спрос. То же и в малярном, и в прочем квартирноремонтном деле. Прежде чем дать заказ, человек не раз осведомляется, а что за люди, кто может дать рекомендацию. Амери-

канец пустит в свой дом рабочего, лишь удостоверившись в его честности. Отдавая в ремонт автомобиль, он предпочитает иметь дело с проверенным механиком. Богатый американец, приглашая в дом массажиста, непременно по рекомендации, справляется прежде всего не о его послужном списке и профессиональных достоинствах, а о нравственном облике. Человеку, дурно себя зарекомендовавшему, будет дан от ворот поворот.

Нравственность, по нынешним временам, имеет свой конкретный долларовый эквивалент. Мой сосед-пуэрториканец способен в два часа ночи перебудить полквартиры с помощью орущего на ремне ящика.

Вчера зашел в магазин радиотоваров, где он работает продавцом. Передо мной стоял совсем другой человек, подтянутый, вежливый, доброжелательный.

— Сорри, рекомендую вам этот магнитофон, У фирмы отличная репутация.

В магазине он и батарейки не стащит: нравственным быть выгодно.

...Миллиардеры, жертвующие миллионы на благотворительность, вовсе не образцы добродетели. Потом эти миллионы будут списаны с налогов.

Помогать бедным в Америке выгодно.

Ну, а коррупция, преступность, процветающие торговцы наркотиками, гангстеры? Разве в Америке не наживают миллионы на махинациях?

Я вовсе не идеализирую Америку. Просто у человека нравственно-го здесь есть шанс, которого нет там, за железным занавесом. Честный человек на нашей покинутой родине, как правило, остается в дураках. Если ты честен, живи в коммуналке на свою сотню. А торгаш и прохиндей даст кому следует на лапу, купит кооперативную квартиру и пойдет увешивать потолок тысячными хрустальными люстрами.

У тебя есть принципы. Так ходи в скороходовских лостнавах, в унылых портках фабрики "Большевичка". А работник ОБХСС, генеральский сынок, дочь партийного чиновника будут гулять в джинсах и дубленках, купленных в спецраспределителе или добытых через заднепроемное отверстие торговли.

Ты человек с умом и сердцем, так прозябай же безвестным клерком в НИИ, наживай высокое внутричерепное давление за школьными тетрадками, обходи стороной ресторан, в котором гуляет ныне обнаглевший Смердяков, лакей и хам.

Я вовсе не идеализирую Америку. Но она дает честному человеку шанс. Здесь ты можешь добиться процветания, оставаясь абсолютно нравственным. Для этого необходимы две вещи: нужная Америке профессия и трудолюбие. И вовсе не обязательно лгать.

...Что это? Истеричная филиппика эмигранта-неудачника? Неужто все мы поголовно больны и уже не способны к исцелению? Но ведь говорится же у Апостола: нравственный закон неистребим в человеческом сердце, и даже языки (то есть язычники) закон в сердце имеют.

Но тут является все тот же потрясающий кулаками сосед, интеллигентный человек, работающий на фабрике упаковщиком:

— Нет, это уже невыносимо... Представляешь, купил на углу у русского пластиковые мешки для "гарбиджа". Все, как один, рваные. То-то он продает вдвое дешевле. Сплошное расстройство. Целое утро прождал электрике Зяму. Вчера обещал провести розетку в кухню. Только что был у него: пьян в стельку, лыка не вяжет.

Узнаю тебя, Русь. Ведь глупо же... глупо. Неужели он не понимает, что с таким подходом к делу — обречен.

"...Мораль была бы пустой наукой, — утверждает Иммуниел Кент, — если бы она не могла доказать человеку, что его величайший интерес состоит в том, чтобы быть добродетельным".

Есть притча о лживом пастухе. Он пас овец неподалеку от деревни. Однажды пастух решил поразвлечься. Он завопил: "Волки!" Сбежались поселяне. Волков не было. Не следующий день шутке повторилась. Но когда в самом деле волки пришли, лжецу уже никто не поверил. Серые разбойники перерезали все стадо.

Эта притча о том, что лгать элементарно невыгодно. Быть нравственным — в ы г о д н о . Добродетельность, как выяснилось» имеет конкретный долларовой эквивалент.

— Добросовестность — вот тот элемент, которого нынче так недостает нам. — сетует американский экономист на страницах журнала "Ньюс-вик". — Почему мы не можем состязаться на рынке труда с японцами, почему во многих сферах современного производства мы уступаем Западной Германии? Потому что место у наших конвейеров сегодня заняли миллионы необразованных, непросвещенных, недобросовестных. Там гайку недовернут, там неточно детальку запаяют... Нынешнее производство, современный уровень технологии требуют д о б р о й с о в е с т и . В Японии, когда молодой рабочий сразу же после средней школы приходит в свою фирму, в которой он, как правило, будет трудиться всю жизнь, его ставят на рабочее место, а потом ведут на самый конец конвейера:

— Деталь, которую ты будешь делать, вот она, в этом месте автомобиля. Японский менеджер обычно немногословен. Он знает — новичка не нужно особенно наставлять. Всем стилем японского воспитания он подготовлен к добросовестному труду, который есть продолжение заложенных в человеке нравственных заповедей.

...Какие уж тут заповеди, в наших-то эмигрантских гетто, — скажешь, — расхохочутся, хватит, мол, "капать на мозги"...

Вот и американская газета "Нью-Йорк Таймс" уж о наших художествах написала... Русские, мол, подделывают и продают лицензии, дипломы, всевозможные документы. Торгуют поддельными кольцами, оружием и наркотиками. Только, думается, в одном ошибается газета "Нью-Йорк Таймс": никакой связи между русским преступным миром и КГБ не существует. Мелковато это для КГБ. Просто у массового эмигранта начисто отсутствуют нравственные ориентиры. Его легко склонить к преступлению. В Америке слишком много искушений для человека без Божьих заповедей в душе.

Григорий РЫСКИН

Еженедельник "Панорама", № 100, 1983, с.10-11.

## ДОЛЛАРОВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ МОРАЛИ

### *Точка зрения редакции*

Мы опубликовали полный текст статьи Г.Рыскина не потому, что эта статья выдвигает какие-то принципиально новые проблемы. Скорее, наоборот. Ее автор — журналист, специализирующийся на эмигрантских темах, пишет о том, что похоже становится притчей в языцах на страницах западной печати, — о безнравственности нашей эмиграции.

И не только эмигрантские газеты, но вот уже и "Нью-Йорк Таймс" считает себя не вправе обойти эту тему и возводит ее в степень проблемы, которую не может игнорировать американское общество: русские занимаются мошенничеством и жульническими операциями, торгуют поддельными драгоценностями, оружием и наркотиками...

Что касается "Нью-Йорк Таймс", то у нас есть большие подозрения относительно ее осведомленности по части русских дел. Газете, утверждавшей много лет подряд, что спасение Америки — в политике детанта, можно простить и некие заблуждения по поводу морали новых эмигрантов.

Другое дело, когда о том же говорим мы сами, люди, вышедшие из современной России. Там, где эмигранты, пишет Рыскин, там безнравственность и ложь. Это они, эмигранты, покупают лицензии, это они сдают друг за друга экзамены, они не являются хозяевами своего слова, они расплачиваются со своим же братом-эмигрантом пустыми чеками.

Под всем этим можно было бы подписаться, если бы речь шла об отдельных, пусть даже и многочисленных фактах. Но все дело в том, что Рыскин пытается вывести некие неоспоримые закономерности, касающиеся третьей эмиграции и уходящие своими истоками в нашу прошлую жизнь. По его мнению, уже с детских лет из нас делали "нравственных уроков". И теперь уже ничто не может нам помочь. "Мы можем



осознавать наше уродство, ненавидеть себя, но ничто, даже эмиграция, не способны нас уже исцелить”.

Ну, а как обстоит с моралью в обществе, куда приехали нравственные уроды из России?

Разумеется, и это общество автор не считает морально безупречным. Однако если в нашей прошлой жизни безнравственность была единственной формой выживания, то в Америке, напротив, “нравственным человеком быть выгодно”, ибо нравственность “имеет свой конкретный долларовый эквивалент”. Примеры? Да вот хоть сосед автора пуэрториканец. Как сообщает нам Григорий Рыскин, это человек нравственный. На работе он всегда подтянут, вежлив и доброжелателен. Однако этот “нравственный” человек способен перебудить с помощью “оружья на ремне ящика” полквартала. Хотите еще примеры? Да хоть любой американский миллиардер, который миллионы жертвует на благотворительность только ради того, чтобы списать потом эти миллионы с налогов.

Думается, что автор просто поскупился на примеры. В Нью-Йорке, например, они на каждом углу — где каждый заработанный (а, скажем, не украденный) доллар может выступать как некий знак нравственности.

Но признаем возможным и такой подход к нравственности и возблагодарим судьбу, что сосед автора — пуэрториканец по ночам всего лишь будит, а не грабит и не насилует своих соседей. Давайте признаем безнравственными только тех, кто подделывает документы, мошенничает, дает непокрытые чеки, торгует поддельными брильянтами и наркотиками.

Но откуда у Григория Рыскина и даже у такой уважаемой газеты, как “Нью-Йорк Таймс” эта статистика, что именно русские, а, допустим, не пуэрториканцы или итальянцы лидируют по этой части?

Советская власть, конечно, изрядно поработала для того, чтобы изуродовать мозги миллионов трудящихся, но ведь и современное общество изобилия мало напоминает питомник безгрешных ангелов, а то, откуда бы взяться в этом обществе таким премилым явлениям, как вандализм, террор и наси-

лие? Откуда безудержной жажде денег стать высшей добродетелью общества, в чем с такой очаровательной наивностью нас убеждает Григорий Рыскин?

Но, с другой стороны, чтобы доказать, что современное общество погрязло в грехах, не стоило даже братья за перо. Как не стоило бы братья за перо, чтобы доказывать, что эмиграция принесла нам свободу и нормальную человеческую жизнь. Да, мы можем покупать то нам вздумается, и питаться в лучших ресторанах, и разъезжать в собственных автомобилях, и жить в собственных домах, но если бы этим и исчерпывались потребности человека, то история вполне могла бы поставить точку и выбросить за борт все прочее. Человек более не наслаждался бы прекрасным и не стремился бы к добру, и не молил бы Бога, чтобы тот сделал его чище и не мечтал бы о всеобщей любви и братстве.

Григорий Рыскин приводит широко известный категорический императив Канта: “Мораль была бы пустой наукой, если бы она не могла доказать человеку, что его величайший интерес состоит в том, чтобы быть добродетельным”.

Что это значит? Это значит, что нравственность самоценна, что она сама по себе — источник высшего удовлетворения человека и что, как только у нее появляется долларовый эквивалент, она перестает быть нравственностью.

Похоже, что мы имеем здесь дело с двумя совершенно разными пересекающимися системами ценностей — социальными и духовными, мирскими и Божьими. И вот тут-то мы подходим к величайшей путанице, воцарившейся в наших головах и касающейся вопроса, что дала нам эмиграция. Послушаешь наших авторов: все она нам дала — и свободу, и деньги, и Бога, и мораль, да вот только не входит эта мораль в изуродованную душу гомосоветикуса — даже эмиграция не способна нас исцелить! — горестно восклицает Григорий Рыскин.

Теперь, пожалуй, снова вернемся к нашей теме, точнее, к нашей прошлой жизни и ответим на вопрос, одних ли моральных уродов рождала эта жизнь и так уж ли прост и примитивен механизм формирования человеческой морали.

Время делает свое дело — и все более раздваивается в нашем сознании Россия. "Вглядитесь в лица членов политбюро, — пишет Рыскин, — какой чудовищный паноптикум. Узкие лбы, расплющенные носы, тонкие искривленные губы, отпечаток лжи и гордыни. Придя к высшим ступеням власти, человек утрачивает все человеческое".

Да, этот чудовищный паноптикум оседлал страну, он мучает, душит ее во имя своих классовых интересов. И тут же — другая Россия: митингующая на собраниях, вкалывающая на заводах, миллионы отбитых пропагандой мозгов. Так пишет Григорий Рыскин и как будто бы он прав, все в этой России едино: и власть имущие и рабы — одни достойны других в этом обществе моральных уродов. Но поскольку среди митингующих и вкалывающих были и мы с вами, дорогой читатель, давайте немного вспомним о нашей морали и поговорим — нет, не про Бога и идеалы — большевики их отняли у нас, а про самые простые вещи, среди которых мы жили, любили друзей и близких, воспитывали детей. Какими нормами тогда руководствовались? Что почитали порядочностью и что считали грехом?

Ну вот, например, просил нас сосед посидеть с его ребенком, сколько брали за бебиситерство? Или приятелю давали денег на кооператив — какой взимали процент? Или везли знакомого за тридевять земель в больницу — сколько брали за бензин? И если вызывали в кадры — готовы ли были тотчас продать?

А сколько из нас были свидетелями, скажем того, как работницы несли последние копейки одиночкам-матерям, чтобы те купили молоко своим детям; как полуграмотные бабы продали на базаре последние вещи, чтобы справить своей подруге свадьбу. В парткоме кричали, что это новые коммунистические отношения — вот де, каких людей воспитала партия! А им было на все это наплевать. Они голосовали за эту партию (за кого же им еще голосовать!), они и слыхом не слыхивали об Иммануиле Канте, они действовали так, потому что иначе действовать не могли.

Боже! Зачем обо всем этом говорить, будто каждый не может привести сотни таких примеров. Мы жили странной

жизнью — бедной, безликой и уродливой, но, может быть, именно в силу своей-уродливости она чуть ли не каждый день ставила нас перед выбором: солгать или не солгать, проявить широту или мелочность, сохранить или потерять достоинство, спасти или толкнуть человека... И как часто сохранение себя грозило неприятностями, но в то же время и возвышало — нет, не долларovým эквивалентом, не возможностью списать налог, не суетными благами — а тем, что вы ощущали собственную порядочность, а это, если верить тому же Иммануилу Канту, не так уж мало: жить и чувствовать себя порядочным человеком. Вот и судите: так уж ли прост механизм формирования морали.

Мы не знали свободы, кругом была ложь, но рождалось в этой жизни и нечто совершенно ей противоположное. Называйте это, как хотите, — порядочностью, человечностью, моралью, но согласитесь: что-то ведь было, что-то такое, что в этом свободном мире начисто исчезло. Да, мы обрели свободу и благополучие, но вместе с этим и суету, и страсть к накопительству и бесконечные заботы о секьюрити и гарантиях этого нашего благополучия.

Возможен, конечно, отсюда вывод, что Запад с его безудержной свободой и жадной наживы губителен для человека. Этот вывод мы часто слышим из уст Солженицына. Можно сделать заключение, что губителен для человека и его морали советский режим. Запад лишь способен очистить его. Но в том и другом случае: кто есть человек? Ничтожная былинка среди бурь общественной стихии. А мы с вами, читатель, сколько б не посылали проклятий Марксу, так и останемся вульгарными марксистами. Что может быть спрошено с человека-былинки? Все в этом мире детерминировано. Какова стихия, таков и он — продукт общественного бытия. Вот так и будем мы вращаться в этом порочном круге, не понимая, что есть, кроме материи, неподвластная ей неистребимость духа, есть Божии законы, согласно которым в обществе рабов рождаются Сахаровы, а в обществе свободных — арафаты и ему подобные.

Проблема, о которой мы говорим, — не является чисто

академической, и человеческий дух — отнюдь не бессодержательная абстракция. Когда мы говорим о сокрушительной силе тоталитаризма, мы должны помнить и о пределах его возможностей. И молчаливое большинство, которое, похоже, он превратил в безликую массу, оказывается способным к протесту — нет, не с оружием в руках, а под его дулами, с поднятыми вверх руками, голосуя за партию и правительство, но сохраняя в глубине своих душ нераздавленную открытость добру.

Как просто бросить камень в этих людей, а заодно и плюнуть в собственную душу: кем же нам быть еще, как не моральными уродами! Но возникает вопрос: если все так темно и беспросветно, откуда же мы взяли силы, чтобы вырваться и по крайней мере попробовать начать все сначала?



## ТЕТРАДЬ НА СТОЛЕ

*Очерк третий*

Несколько встреч, о которых будет рассказано ниже, вспомнились мне в связи с нынешними событиями и раздумьями. Первое событие — чтение книги П.Г.Григоренко "В подполье можно встретить только крыс". Книга воспринимается отдельно — название отдельно. Книга вызывает неослабевающий интерес, уважение, сочувствие, восхищение. С ней можно расходиться в частных оценках некоторых людей. Но она навсегда останется выдающимся и постоянно действующим явлением русской мемуарной литературы. Название же и его обоснование в тексте вызывают протест: с таким насильником, как ЦКГБ—КПСС нельзя бороться только в открытую. Тем более в такую эпоху, как наша. Сегодня просветительство, восстановление духовных ценностей, противодействие официозному оболваниванию людей, сообщение правды о мировой ситуации, предложение политических и экономических моделей, альтернативных тоталу, становятся

---

\* Начало см.: "Время и мы" №34, 52, 53, 55.

насущными задачами быстротечного времени. Ничего этого делать в СССР открыто нельзя. Всякий открытый шаг в этом направлении — пролог ареста, и очень близкого. Под видимой — героической, жертвенной — частью айсберга сопротивления должна находиться многократно более массивная подводная часть, выполняющая перечисленные выше задачи. Подсоветский человек не такой уж сплошную безнадежный Homo Sovieticus, как представляется некоторым литераторам, когда безысходная мизантропия становится доминантой их настроения. Этот человек зачастую самопроявляется как Homo Sovieticus лишь потому, что охвачен все вытесняющим страхом. Поэтому первые шаги по его советскому просвещению должны быть для него относительно безопасными — укрытыми от охраны и власти.

Второе, что заставило меня вспомнить о некоторых эпизодах моего учительского прошлого, — это идущий в неподцензурной русской литературе спор о том, кому должно быть адресовано свободное Слово. Можно ли адресовать его и тому слою, который принято именовать номенклатурой?

Неубитые или недоубитые души есть на всех ступеньках советской жизни. Вспомните изумительную "Дубленку" Бориса Вахтина. Разумеется, чем выше, тем меньше надежды пробудить невраждебный отклик. Вероятность найти его в гражданине начальнике Андропове скорее всего исчезающе мала. Но свет не сошелся клином на советских фюрерах, хотя они-то, возможно, и читают крамолу — по долгу службы. А может, и не читают, может, мы слишком хорошо о них думаем. Но между противоборствующими сторонами (фюрерами и протестантами) сколько народища расположено!..

Самый злободневный сейчас вопрос — как довести свободное слово до подсоветского человека и как добиться, чтобы он прочитал или выслушал его без опасений и вдумчиво...

Итак, о нескольких встречах.

В нашей семье долго не возникал вопрос, ехать ли, хотя вокруг уже уезжали вовсю. Казалось самоочевидным, что уехать невыносимо: слишком многие нити и корни привязывают к этой земле и ее людям. Но круг сужался, и псы все

ближе лаяли на следу. Преподавать даже на платных курсах, где мне удалось устроиться после потери возможности работать в школе, становилось все тяжелее: поступил, по-видимому, сигнал о неортодоксальности моих лекций, начались проверки и перепроверки. Читать курс, как велют, уже никак не могла. Как всегда, возникали неформальные связи со слушателями. Эти связи тоже привлекали внимание. На лекцию как-то пришел куратор из КГБ: плотный дядечка с номенклатурной физиономией и брюками с кантом под штатским пальто. Даже если бы меня не предупредили о том, кто он, его, пожалуй, удалось бы вычислить. Он пришел под предлогом, что хочет выбрать преподавателя и обновить в памяти курс русского языка и литературы за среднюю школу, намерен что-то писать. Но, когда его попытались направить не ко мне, помялся и назвал мою фамилию, сказав, что наслышан об этом лекторе и хотел бы побывать сперва у него. Администрация курсов знала, кто он, и поэтому возражений не было. С этим массивнолицым непроницаемым типом произошел на лекции забавный казус. Курсы были абитуриентскими, и поэтому все разделы программы соотносились с тем, как они должны раскрываться на вступительных вузовских экзаменах по русской литературе. Мною этот вопрос, как правило, выделялся особо: вот так вы должны говорить или писать на экзамене, а вот это — некоторые расширительные соображения — не для экзамена, а для вашего общего развития. Многолетний опыт убедил меня, что слушатели прекрасно понимают эту двойственность и в большинстве своем ей рады. Группы не рассыпались до конца года, что в вечерних учебных заведениях бывает в Союзе редко. Из года в год, по мере того как разворачивался материал, сочинения и вопросы слушателей становились все менее стандартными. Я почти никогда не уходила с занятий одна: возникший на лекции разговор нередко оканчивался на другом конце города, у моего подъезда. Некоторые начинали приходиться к нам домой. Текли непривычные речи. Если дружба упрочивалась и углублялась, появлялись и не прошедшие цензуру тексты.

Разумеется, администрация курсов не подозревала об этой стороне моих взаимоотношений с некоторыми из слушателей. И когда поступил первый прямой сигнал о том, что я непропорционально много времени уделяю литературе девятнадцатого столетия и мало — советской литературе, что часто трачу драгоценное время на темы, выходящие за пределы абитуриентской программы, — меня вынудили бесцеремонными проверками уйти с работы. Это была моя последняя служба в Советском Союзе. Об утраченной мною аудитории с ее готовно открытым и чутким слухом говорить больно. Хорошо бы верить, что публикуемое здесь хотя бы тончайшими ручейками сочится туда. Но если даже сочится? Оно попадает в руки считанных искушенных читателей. Моя — на протяжении двадцати девяти лет — аудитория — это сельские школьники, ученики интерната для туберкулезных детей, абитуриентские курсы. Обычно на них поступают юноши и девушки с заводов истроек, демобилизованные военнослужашие, выпускники вечерних школ, нередко — милиционеры и младшие служащие судебных-следственных учреждений, стремящиеся поступить в юридический институт. Донос, кстати, пришел не от них, а от преподавательницы игры на фортепиано, готовившейся поступить в институт культуры.

Эта моя аудитория ни самиздата, ни тамиздата не получала и скорее всего не получает по сей день. И, когда я слышу споры об открытости или конспиративности оппозиционной деятельности в СССР, я всегда вспоминаю об этих думающих, невежественных и глубоко разочарованных в жизни ребятах, до которых без конспирации не донести необходимой им пищи духовной и умственной. Даже с помощью зарубежного русского радиовещания, которое сегодня так обеззубилось по сравнению с шестидесятыми годами.

Но вернусь к посетившему мою лекцию культуроведу в штатском. В дверях он кивнул и грузно втиснулся за одну из парт среднего ряда, напротив учительского стола. Курсы ютились в школе, начинаясь после двух ее смен, и взрослые люди сидели за подростковыми партами. В тот вечер я должна бы-

ла рассказать, какими темами может быть представлена на письменном экзамене по русской литературе комедия Грибоедова "Горе от ума". Пока я называла и диктовала темы, начальственное лицо в среднем ряду каменело от скуки. После перечисления тем, которые следовало готовить к экзамену, началась собственно лекция, занявшая два урока без перерыва между ними. Речь шла о персонажах комедии.

Дети в массе своей плохо воспринимают "Горе от ума", когда "проходят" грибоедовскую комедию в восьмом классе. Мои слушатели учились в восьмых классах давно и чаще плохо, чем хорошо. В их памяти великая пьеса была связана скорее с отрицательными ("скуотища!") эмоциями, чем с положительными ("смешно!"). На предыдущих лекциях чтение комедии вслух с некоторым предисловием, со словарными (они были необходимы) и прочими пояснениями было воспринято как неожиданно увлекший спектакль. Слушатели диву давались: и почему им так скучно было читать ее в школе? На этот раз мы перелистывали пьесу снова, прослеживая линии основных персонажей. Я читала и рассказывала, рассказывала и читала и вскоре забыла о том, что в классе находится посторонний и недоброжелательный человек. Мой взгляд упал на него случайно, но после этого я уже не переставала мельком его наблюдать. Произошло нечто странное: тяжелолицый надсмотрщик исчез — он влился в аудиторию, которая, то смеясь, то задумываясь, покорилась неотразимому обаянию детища Грибоедова. Он слушал, смеялся, покачивал головой и ничего не записывал, хотя в начале урока положил перед собой блокнот. Странное у меня возникло чувство: что даже и х можно разговорить...

Неистребимая учительская вера в урок, в слово, в связь, возникающую между говорящим и слушающим, заставляет думать, что сегодня важнее всего внятно объяснять происходящее и альтернативы ему. Этого без укрытости и не начать и уж тем более не довести без нее до масштабов, маломальски способных влиять на человеческие поступки.

Да и что такое укрытость? Нечто укрываемое от сыска и репрессий в то же время открывается людям, к слуху кото-

рых обращено. Тайно или открыто протекал, к примеру, следующий сюжет моей учительской биографии? Курсы, о которых я говорю, подготавливали абитуриентов для гуманитарных факультетов и вузов, в том числе и в юридический институт. В областном юридическом институте вступительные экзамены были в 70-х годах пустой формальностью: кандидаты на поступление направлялись туда партийной организацией тех учреждений и предприятий, где они работали, с характеристикой, подписанной "треугольником" (высшим администратором, секретарем парторганизации и профоргом) и утвержденной райкомом партии. Как правило, это были младшие служащие "органов", милиции, судов, прокуратуры и т.п. Иногда — демобилизованные солдаты или комсомольские активисты заводов. Те, кого почему-либо принимать не хотели, несмотря на необходимые характеристики и стаж, могли сдавать вступительные экзамены год за годом и не проходить по конкурсу, которого фактически не было. Зато огромную роль играли партийные и служебные связи родителей, с помощью которых в институт иногда попадали вчерашние школьники.

Среди моих слушательниц была молодая женщина, мать-одиночка, канцелярская служащая одного из районных судов города. Довольно грамотная, что было на курсах редкостью, выучившая наизусть все школьные учебники литературы и, вероятно, не только литературы, но и вообще все учебники по всем предметам, необходимым для поступления в вуз. Тем не менее она безуспешно пыталась поступить в юридический институт уже три года подряд. С поразительным упорством она собиралась пробиваться туда снова и снова. Поскольку практической целью моих слушателей было поступление в вуз, они должны были научиться писать в рамках абитуриентского ГОСТа и так называемые сочинения на свободные темы. Если они не будут как следует знать ни одного из произведений, по которым заданы все остальные экзаменационные сочинения, свободная тема может их выручить. Сочинение на свободную тему — это своеобразный курьез. Прежде всего, эта тема не свободна, а строго задана в названии со-

чинения, например: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек". Или: "Когда страна быть прикажет герою..." Или: "Почему я выбираю эту профессию?" Или: "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!" И так далее. Всякий опытный советский школьный филолог знает основные "кусты" этих тем и умеет преподать ученикам образцы, которые можно легко видоизменить, приспособив их к любому варианту каждого из "кустов". Свободные темы свободны лишь от привязки к определенному произведению или автору. Во всем остальном они строгой запрограммированы, ибо построены на штампах, на стандартных блоках, которые составляют языковую основу советской идейности, обязательной как для учителя, так и для ученика. Очень тяжело обучать доверчивых слушателей этой фальсификации и проверять в тетрадях ее плоды. Но если ученики приходят к тебе, чтобы ты помог им поступить в вуз, как ты можешь обезоружить их, не научив конструировать эти фальшивки?

Так вот: однажды молодая женщина, о которой сказано выше, дала мне для проверки сочинение с заголовком "Почему я выбрала эту профессию?" Это было в середине учебного года, когда между слушателями и мною уже установилось доверие, достаточное для того, чтобы часть сочинений превратилась в письма — в исповеди, которые никак нельзя было бы воспроизвести на экзамене. Мне приходилось уже в том году уходить после занятий с авторами некоторых сочинений и объяснять им, что вступительный экзамен в вуз — не место для поисков смысла жизни. "В экзаменационном сочинении, — объясняла я, — вы должны продемонстрировать комиссии свою грамотность и знание материала — в границах и в толковании школьной программы".

Моя слушательница, Людмила Р., написала дома многостраничную исповедь о том, почему она хочет попасть в юридический институт и стать прокурором или, на худой конец, инспектором ОБХСС. Ее сочинение было страстным и гневным монологом о взяточничестве и воровстве. Она приводила тому много примеров, безымянных, но с хорошо вылепленными деталями характера преступника и самого преступ-

ления. Самая живая и жгучая ненависть была сосредоточена на продавщице из учрежденческого буфета. "Эта наглая баба, — писала она, — крадет у моего болезненного ребенка по двадцать граммов сметаны с каждых ста граммов! А после того как я ее уличила, она вообще стала швырять мне покупки, как милостыню, и никогда ничего не оставляет, если я занята и не могу стоять в очереди. Я их ненавижу! Я пять, десять раз буду поступать в юридический институт, но добьюсь возможности их судить и карать! Я ненавижу защитников, которые их спасают!.." — писала Люда.

"С такой ненавистью и предвзятостью к тем, кого вы будете проверять или судить, вам нельзя идти ни в ОБХСС, ни в прокуратуру, — написала я под ее сочинением. — Подойдите ко мне после занятий".

Она не смогла задержаться вечером из-за ребенка — мы встретились на другой день, перед занятиями. Я спросила ее, представляет ли себе она, выросшая в деревне, путь молока и всего, что из него получают, от коровы до ее ребенка. Я тоже много лет прожила в деревне, и мы начали вспоминать с полным знанием дела. Мы легко восстановили трассы колхозного и частновладельческого молока и все те пункты, на которых молоко, а затем и сметана либо крадутся, либо разбавляются (этот процесс начинается с молокозавода, иногда их два: сначала маленькая сельская "молочарка", а после — большой областной комбинат).

"Понимаете ли вы, — спросила я, — что ваша буфетчица уже на базе или в базовом магазине получает сметану либо недовешенную (ведь ее крадут понемногу на всем пути следования), либо долитую молоком? Даже если она не выкраивает стакан-другой для себя, ей надо покрыть недовес. Это в буфете, где она сама себе госпожа. А в магазине, как правило, еще и с начальством делятся. Начальство берет и деньгами, и натурой. Иначе с ним не сработаешься: придерутся — и в лучшем случае выгонят, а то и дело пришьют. А о том, что всевозможные проверяющие, не исключая ОБХСС, тоже берут с магазинов взятки, натурой или деньгами, вы никогда не слышали? Кроме того, зарплата торговых работников —

одна из самых низких в стране. Если продавщица еще и главный или единственный кормилец в семье, как ей купаться в продуктах и не урвать что-то для своих детей? Ведь прокормить их на свои 70-75 рублей в месяц она никак не может! Эти зарплаты словно прямо рассчитаны на то, чтобы люди дообеспечивали себя воровством. А работа еще и одна из самых тяжелых, и физически, и для нервов. Если бы не эти украденные у нас с вами двадцать граммов сметаны, они бы просто не шли в торговлю. И вы не пошли бы!"

"Значит, надо бороться с воровством везде, начиная с колхозной фермы!"

"Мы ведь установили: если бы не возможность урвать для семьи немного продуктов, люди просто не шли бы на эти работы. Они везде, начиная с сельского молокоприемного пункта, тяжелы и оплачиваются очень низко. Скажите, а на базаре вы не пробовали покупать сметану? Ведь она там лучше".

"Еще бы! В базарной сметане ложка стоит... Но как я могу ее покупать? Я за день на банку не зарабатываю. На базаре сметана такая, как у нас дома была, когда мама корову держала. Только кому это по карману?"

"Вот видите, Люда! Если бы шли продукты прямо из рук хозяев коровы в ваши руки, да еще если бы коров на селе было много, чтобы хозяин хозяину цену сбивал, да к тому бы зарплаты — и вашу и буфетчицы — немного повысить, не пришлось бы вам ее ненавидеть такой лютой ненавистью".

"Так что же делать? Не бороться с ворами? Позволить им наживаться на наших детях? Как это исправить? Ведь получается, что все безвыходно!"

Тут мне становится не по себе: почти незнакомого человека, да еще работающего в суде и переполненного гневным отчаянием, я заставляю думать о тупике, в который мы все зашли. Как предугадать ее реакцию?

"Во всяком случае, Люда, — говорю я, — когда вы закончите институте..."

"Как я его окончу? Три раза не пропустили по конкурсу!" — перебивает она.

"В инструкции о приеме в вузы есть пункт о том, что чело-

век, сдающий более трех раз экзамены в один и тот же институт, должен идти вне конкурса. Этот пункт обычно институты замалчивают. Абитуриенты о нем не знают. А вы воспользуйтесь им и жалуйтесь, если вас снова не примут. Так вот: когда вы станете тем, кем хотите стать — инспектором ОБХСС или прокурором, — будьте вдумчивы. Не позволяйте обиде туманить вам глаза. Не делайте стрелочника ответственным за ошибки в расписании поездов. А вступительное сочинение пишите сдержаннее: не выплескивайте в нем весь ваш жизненный опыт. Сочинение должно быть грамотным и оптимистическим..."

Не скажу, что я безмятежно спала в ту ночь. И не знаю, изменила ли что-нибудь во взглядах Люды наша беседа. Но она на меня не стукнула, это факт. И я в каникулы, когда курсы закрылись, помогала ей и ее подруге готовиться к экзаменам по гуманитарным предметам. Они поступили на вечернее отделение. Хотела бы я знать, кем они стали, где и как используют свои тяжко выстраданные дипломы.

С юридическим институтом связана в моем учительском прошлом еще одна история. Учился у меня в одной из сельских школ, где я работала, Саша Л., сын фельдшерицы и механика из РТС. К концу выпускного, десятого, класса, это был высокий изящный юноша, темноволосый и сероглазый, с продолговатым, блоковского типа, лицом. Саша учился прекрасно и рассчитывал поступить в институт, получив отсрочку от призыва в армию.

Это были годы ранней "оттепели". Шли одна за другой потрясавшие и ошеломлявшие читателей публикации в "Новом мире" и "Литературной Москве": "Семь дней недели" Кирсанова, "Не хлебом единым" Дудинцева, "Собственное мнение" Гранина, очерки Овечкина, "Рычаги" Яшина, "Открытая книга" Каверина, повести Любови Кабо и другие ныне забытые, а тогда такие новые и свежие книги, статьи, очерки, стихи, воспоминания, рассказы. Я навсегда сохраню живейшую благодарность им — за себя и за своих тогдашних более поздних питомцев. Это была опора, позволявшая постепенно вводить их в жизнь, к тому же опора легальная,

не ставившая их и учителя сразу же под существенную угрозу.

Я тогда написала несколько очерков, содержащих мои читательские впечатления от восьмого-двенадцатого номеров "Нового мира" за 56-й год и от альманаха "Литературная Москва" № 2 за тот же год. Мои очерки представляли собой и отклик на злобные рецензии, которыми сразу же огрызнулся литературный официоз на ренессанс критического реализма второй половины 1956 года. Позднее эти читательские впечатления превратились во вполне крамольные статьи, которые были пущены мною по рукам, но беспомощно и неумело, так что, вероятно, затерялись, не будучи размноженными в достаточном количестве ("Эрика берет четыре копии..."). Может быть, Виктор Некрасов помнит, что они были ему переданы общим знакомым в середине 60-х годов. А может быть, общий знакомый и не выполнил своего обещания.

Теми моими учениками, которым, на мой взгляд, они были доступны и полезны, заметки мои читались вслед за произведениями, которым были посвящены. Сельские дети особенно чутко реагировали на Овечкина и на яшинские "Рычаги". Но и роман Дудинцева увлек всех, потому что увлек меня. В 1965 году я пришла к Дудинцеву с несколькими ученическими сочинениями о "Не хлебом единым" и о "Новогодней сказке". Владимир Дудинцев был очень взволнован. Тогда у него в маленькой комнате стопами на полу лежал отпечатанный на машинке новый роман, посвященный судьбам советской биологической науки. Его дважды анонсировал "Новый мир", но роман так и не увидел света ни в Госиздате, ни в самиздате. Мне были прочитаны два-три отрывка, не оставлявшие сомнений в значительности целого. Куда девался этот роман и почему замолчал Владимир Дудинцев — для меня загадка.

Итак, мои дети питались плодами "оттепели" и ставились волей своего тогда еще очень наивного учителя перед тупиковой задачей: подобно Лопаткину и Галицкому (герои романа Дудинцева), каждый на своем месте полностью, не кривя душой, отдаваться "Делу, которому ты служишь" (название романа Ю.Германа о враче Устименко), — честно следовать



своему призванию и везде бороться за правду, за то, что нужно народу. В ту пору я верила, что такая самоотдача, такая борьба укладывается в рамки послесталинской действительности. И более того: что после XX, а затем и XXII съездов КПСС бескомпромиссное служение общей пользе будет все более совмещаться с пребыванием в партии. Даже Венгрия не заставила меня опомниться, может быть, потому, что я не слушала в 1956 году в своем селе иностранного радио. Отрезвление пришло в 60-е годы, уже по возвращении в город. Иллюзии были добиты арестом Синявского и Даниеля, но это уже совсем другая повесть. А тогда мои дети горели пафосом книг, называвшихся "Кто, если не ты?" (Ю.Гердт), "Ты отвечаешь за все" (Ю.Герман), "Не хлебом единым" (В.Дудинцев), "В трудном походе" (Л.Кабо) и других, упомянутых и не упомянутых в этом очерке.

Саша Л. был среди горящих наиболее ярко. Почему-то он изменил своему решению попытаться поступить в институт и ушел в армию. Встретились мы через несколько лет, в городе, когда он отслужил. В те времена я работала уже не над поисками коммунистической альтернативы сталинизму, а над теоретическими истоками социализма и над причинами его тупиковости. Саша же пришел ко мне вчерашней, учившей их жить по Дудинцеву и Герману. И я увидела, как осторожно должен пользоваться своим влиянием учитель, которому ученики доверяют. И какие сложные ситуации возникают, когда мировоззренческое становление учителя протекает открыто для учеников. Хорошо, если такое общение длится годами и путь свершается сообща: вместе входишь в тупик и вместе из него возвращаешься или его взрываешь; вместе переживаешь и кризисы, и их разрешения. А если ученики переживают с тобой лишь один этап твоего становления и уходят, уверенные, что ты преподал им конечную истину?

Саша пришел ко мне, переполненный нашим общим пафосом 1956-1961 годов, а уже надвинулся 1966-й. Саша был убежден, что человек, который хочет по-настоящему бороться со злом в нашей жизни (а зла он насмотрелся за эти годы по горло), должен быть активен и пользоваться влиянием. По-

этому в армии Саша вступил в партию. Правда, никакой активности пока что в роли молодого коммуниста ему проявить не удалось, и партийные организации, в которых он состоял и состоит (в армии и теперь, на заводе), пропитаны ложью и занимаются ерундой, часто вредной.

Но, может быть, не везде так? Сашу преследовала мысль, что некоторые разновидности зла, затопляющего страну, коренятся в основах действующего законодательства. Во всяком случае, он хотел разобраться в этом с истоков, стать законоведом, а затем (если сумеет продвинуться достаточно высоко) — и реформатором. За это время он соберет вокруг себя людей, способных разработать и провести спасительные реформы. Вторым его шагом в задуманном направлении (первый — вступление в партию) должно быть поступление в юридический институт. Что для этого нужно, и с кем он может об этом посоветоваться?

Я напомнила Саше когда-то им читанное "Собственное мнение" Гранина. Он почти отмахнулся. Им владела уверенность, что он не позволит временным компромиссам поработить свою совесть. Я многое пыталась ему объяснить в тот вечер, но Саша был не готов перестроиться. Все мои доводы шли вразрез с тем, что он чувствовал и в чем надеялся получить от меня подкрепление.

Ему непонятно ( и нескоро будет понятно: над этим нужно работать годы), объясняла я, на сколь глубоком и фундаментальном уровне должна быть перестроена наша жизнь, чтобы обрести положительные начала.

Если он захочет, я могу постепенно кое-что рассказать ему об этом. Партийность же будет только лишней цепью на нем, отбирающей время и обременяющей совесть. Свободу действий партийность не расширяет, а ограничивает. Юридический институт при его отличной анкете (я рассказала ему, что такое плохая анкета: сельские жители в этом разбираются слабо) обеспечит ему назначение в следственные органы или в органы государственной безопасности, и тогда нам, пожалуй, придется встретиться по разные стороны стола...

Саша смотрел на меня растерянно и недоуменно, но стоял

на своем: законы изучаются в юридическом институте — он должен начать с него. И тут мне пришел в голову рискованный ход. "Послушай, — сказала я, — хочешь познакомиться с человеком, окончившим юридический институт? Он занимает довольно высокий пост в системе МВД. Мы бывшие одноклассники, но почти не видимся. Очень уж по-разному сложились пути-дороги. Он принял правила партийной игры и весьма вырос по службе. Но ему можно довериться. Если будет знать, что это не провокация, не продаст. А чтобы знал, хватит моей рекомендации. Он тебе расскажет, что может дать юридический институт человеку с твоими планами.

Павел С. никогда не болел мировыми вопросами и не искал смысла происходящего. Тридцать седьмой год дался ему легче, чем многим из нас: в его семье никого не арестовали. Он не задумывался и не спорил о корнях чудовищной свистопляски смещений и арестов, задевших наши семьи, класс и школу весьма чувствительно, но и не разрывал своей дружбы с детьми репрессированных. Его интересы лежали в областях спорта и техники. Ребята говорили, что и на фронте он вел себя достойно, но охотно ушел в училище, когда представилась такая возможность. Он окончил войну майором и членом партии. Хотел поступить в электротехнический институт, но, когда военкомат рекомендовал его в юридический, не стал спорить и закончил его с отличием. На какое-то время он по партийному направлению был послан на административно-хозяйственную работу в отстающий район, бился там года три, но колхозы не вытащил; так что знал он и эту сторону жизни. Потом вернулся и получил ответственную работу, как-то связанную с вопросами прописки и жилплощади. Он был женат на ответственной сотруднице "органов" и почти не встречался с бывшими однокашниками, разве что на годовщинах выпуска. Работа, ипподром, преферанс, застолья с коллегами и начальством поглощали все его время. Но после моего освобождения из лагеря мне довелось несколько раз говорить с ним по душам. Он даже приезжал однажды в село, где я учительствовала, хотя мог бы остановиться в гостинице райцентра, куда был командирован во

время уборки хлеба. Он помог мне с пропиской, когда я, уже в "оттепель", тяжело больная, вынуждена была оставить деревню и поселиться с дочкой в комнатухе у матери, жившей в городе. Внешне Павел по всем статьям процветал. Но основой его внутреннего мироощущения стал постепенно прочно устоявшийся пессимизм, тяжелый скепсис, распространяемый на все и на всех. Этот скепсис и пессимизм были вполне бесплодны, ибо не подвигали его на отказ от своей дороги, не заставляли пытаться переменить обстоятельства жизни.

Высокий, с резкими чертами лица, он приобрел все повадки и привычки номенклатурного барина, но в одном из наших двух-трех откровенных разговоров высказал горькое сожаление о том, что не отказался от направления в юридический институт и не стал инженером. С ним я и решила свести Александра.

Можно ли было положить неподцензурную литературу на стол Павла С.? Не знаю. Он мог бы получать самиздат от коекого из старых товарищей. Но скорее всего не хотел беречь свою душу. Кроме того, самиздат ему нужен был бы не только разоблачительный. Насколько все плохо, он знал не хуже самых рьяных диссидентов. Если бы удалось каким-то образом положить на его стол соответствующие материалы и убедить прочитать их, он захотел бы знать, почему это плохо, почему оказалось несостоятельным величайшее из учений, что и как можно противопоставить советской системе в качестве ее реальной альтернативы. Я не рискнула дать ему рукопись "Нашего нового мира" (она была издана много позже в Иерусалиме, в 1981 году), боясь его жены, но иногда жалею об этом, так как моя книга трактует именно эти вопросы. Было бы полезно проверить ее на таком человеке, как Павел. Впрочем, одна проверка, отчасти близкая к этой, несостоявшейся, произошла. У меня была незамужняя подруга, ныне покойная, отец которой почти всю свою служебную жизнь (кроме 1937-1939 гг., когда он был арестован, но чудом выскочил в приоткрытую ненадолго Берией "форточку") провел в промышленно-технической номенклатуре и дослужился до замминистра. С этой должности он и ушел на

пенсию. Подруга моя, бывшая моложе меня лет на десять, постоянно читала самиздат и слушала зарубежное радио, но со времени ареста отца была ушиблена страхом перед бесчеловечной махиной власти и вне дома, вне тесного круга друзей не проявляла своих истинных взглядов и настроений. Была она к тому же очень чутка и нервна, глубочайше привязана к родителям и близким друзьям, так что страх за них отравил ее рано оборванную болезнью жизнь.

Как многие советские люди, причастные к рискованным разговорам и самиздатской крамоле, в 1970-х годах мы боялись прослушивания телефонов и установки микрофонов-подслушивателей в своих квартирах. Поэтому я не удивилась, когда она позвонила мне по автомату и попросила встретить ее на улице, чтобы побыть немного на воздухе. К тому времени "Наш новый мир" был размножен, насколько я знала, в 100-120 экземплярах, один из которых, как все, подписанный псевдонимом В.Е.Богдан, уже приплыл по каналам самиздата в наш город, в круг, соприкасавшийся с нашим дружеским кругом. Мы встретились в условленном месте, и вот что рассказала мне моя подруга. Она только что на письменном столе своего отца видела машинописную копию хорошо ей известной моей книги. Она была и напугана, и обрадована: знала, как я хочу, чтобы книга распространялась, и вместе с тем ее растревожило неподконтрольное движение рукописи, которая, наверное, уже попала в ГБ.

Отец заметил направление взгляда дочери. "А ты возьми и почитай. Мы с ребятами ее почти проштудировали" ("ребятами" назывались такие же персональные пенсионеры, как он, бывшие научно-технические и промышленные администраторы). "Тут, понимаешь ли, нет никаких ужасов. Просто сказано, что коммунисты хотели построить и что построили, как эта штука функционирует. И почему ничего другого на таких началах построить нельзя. Главное, сравнивается наша система и западная и доказывается, что наша — тупик, а они могут жить, работать и улучшаться! И, понимаешь ли, нечем бить! Мы, во всяком случае, пока ничего возразить не можем..."

Анюта была и удивлена, и растрогана, и встревожена. И вот — прибежала ко мне — обрадовать и предостеречь: книга зажила своей неподвластной мне жизнью.

Надо ли удивляться, что Павел С. отговорил Александра Л. поступать в юридический институт? И Саша даже мне, устроившей эту встречу, не рассказал по-настоящему, о чем шла речь. Просто заметил, что опыт Павла Ананьевича убедил его в этот институт не стремиться...

\* \* \*

В связи с Анютой вспомнились мне и лично, и по рассказам известные судьбы, которые можно объединить под общим заглавием — "номенклатурные дети". От моей близкой подруги и жены моего однодельца — Валюши Анастасьевой-Черкасской, о которой я рассказала в ранее опубликованном очерке, до Светланы Аллилуевой — дочери Сталина, бежавшей в Америку и написавшей две книги о своем прошлом. Феномен генеральских детей, уходящих в народовольцы, и купеческих наследников, отдающих свои миллионы большевикам, воскресает в детях "номенклатуры", отвергающих правила отцовской игры. Конечно, их численность невелика. И протест их чаще всего настолько менее целенаправлен, чем деятельность их исторических прототипов, насколько гнет нынешний мощнее гнета тогдашнего. Но они есть. И они отказываются от конформизма не только взрослыми, как О.В. Пеньковский\* и теперешние номенклатурные перебежчики (в том числе и кагебисты), но и в юности. Основная масса их братьев и сестер по социальному слою живет в мире, не пересекающемся с миром остальных советских людей: особые квартиры, особые дачи, особые учителя, особые магазины, особые поликлиники, больницы и санатории, особые институты и факультеты, и прочее... Но некоторые из них

---

\* Полковник советской армии, сын генерала. Передал западным разведкам ряд важных государственных секретов. В 1963 г. был казнен (по некоторым сведениям не расстрелян, а сожжен заживо в камере). В изданных на Западе мемуарах объясняет причины, подвигнувшие его на этот путь.

прорывают блокаду этой особы и переживают нравственный шок, увидев, как существуют все остальные. Расскажу лишь об одной подобной истории, которую я наблюдала перед самым отъездом.

Дед этой восемнадцатилетней девушки был генералом КГБ. Вплоть до своей смерти во второй половине 60-х годов он занимал один из ответственных ключевых постов. Ни одна серьезная зарубежная провокация, имеющая целью дезинформировать общественное мнение Запада и направить его в сторону, выгодную для Советского Союза, не проходила без его главенствующего участия. О нем подробно пишет Дж.Баррон в книге "КГБ", фамилия его и по сей день встречается в эмигрантской и западной прессе.

Жена генерала много лет работала в Институте истории АН СССР. Будучи заурядным казенным историком, она потрясла сотрудниц без конца сменяемыми шубами из натуральных мехов и кольцами с дорогими камнями чуть ли не на всех пальцах. Сын их тоже служил в КГБ: занимался разведывательной работой.

Его дочь ушла из дома в поношенном свитере и потертых брюках, не взяв с собой ни одной купленной родителями вещи. Когда мы познакомились, она жила в бедной молодой семье, нянча ребенка и помогая по дому — за стол и койку. Иногда уходила к другим измученным перегрузкой и бытовыми передрыгами молодоженам — пожить у них и помочь им. Порой уезжала из Москвы и гостила какое-то время у друзей в провинции.

У нее была хорошая внешность — тоненькая, высокая, с огромными почти черными глазами на прекрасном кавказского типа лице. Певунья и прекрасная гитаристка, она собиралась поступать в театральный институт, но, к несчастью, была тяжело больна. Приступы болезни сваливали ее внезапно, и жизнь, которую она вела, уйдя из дома, была не для человека такого хрупкого здоровья.

Исход ее из родительского дома начался с тесной дружбы с компанией молодежи, в которой она и познакомилась с рукописями самиздата, с книгами, изданными за рубежом, с

песнями Галича. В дни нашей встречи Наташа переживала песню-поэму Галича о Януше Корчаке. Она читала и пела ее так, что сам Галич не смог бы спеть лучше. Наташа стала приносить домой рукописи. Однажды мать увидела у нее машинописный экземпляр книги А.Амальрика "Доживет ли СССР до 1984 года?" Отец в это время был за границей. Мать отнесла "материал" дяде, тоже сотруднику "органов". И заодно рассказала о тех, кто бывает у дочери. Наташу, естественно, не тронули, но за кружком стали наблюдать. Начались беседы, предостережения, угрозы, давление... Дочь гневно высказала матери все, что она о ней думает, и ушла из дому. Некоторые из друзей Наташи сегодня находятся в заключении (о них часто пишут в эмигрантской прессе). Имя Наташи мне не встречается. О ее настоящем и будущем мне страшно думать.

Поразительные судьбы генерала П.Г.Григоренко, академика А.Д.Сахарова и профессора А.П.Федосеева\* не являются все же единственными в своем роде: прозрение приходит к людям в разных возрастах, в том числе и к людям высокопоставленным. Правда, лишь весьма немногие делают из этого внутреннего поворота такие судьбоносные для себя выводы, как те, что сделали Григоренко, Сахаров и Федосеев. Но латентный сдвиг, способный проявиться в мало-мальски подходящих для того обстоятельствах и внешне, — явление не исключительное.

У нас был дальний родственник, отставной полковник, ныне уже покойный. Он родился и вырос в одном из сел Киевщины. Сын крестьянина-бедняка, пастушонок, он был призван в армию и стал кадровым военным. Окончил училище, потом академию, провоевал всю войну, в конце которой был откомандирован с фронта в какую-то хитрую спец-

---

\* Один из крупнейших специалистов по электронике сверхвысоких частот, Герой социалистического труда. В 1971 г., находясь в командировке во Франции, попросил политического убежища. Стал видным советологом-антикоммунистом; автор книг "Западня", "Новая Россия. Альтернатива" и множества статей в русских зарубежных изданиях.

школу. Потом снова служил, бывал за границей и вышел в отставку в полосу больших сокращений в вооруженных силах где-то в середине 50-х годов.

Муж мой очень рано, юношей, перестал принимать происходящее. XX съезд партии внушил ему кое-какие надежды (членом партии он никогда не был), но венгерские события 1956 года оттолкнули его от коммунизма, как советского, так и зарубежного, навсегда. Позднее к этому отвращению прибавилось четкое понимание неустранимой бесчеловечности и тупиковости социализма вообще, коммунизма в частности. Родственник же этот после XX да и XXII съезда хоть и нередко вспоминал ужасы коллективизации и "большого террора", но в целом признавал лишь отклонения Сталина от ленинизма. Иногда он посмеивался над экстравагантными выходками Хрущева, но никакой критики коммунизма как целого решительно не принимал. Споры между ним и моим мужем были так яростны, что привели их в конце 60-х годов на грань разрыва. Но, когда жена полковника начала тяжело болеть да и сам он, всегда подтянутый и, казалось, неизносимо крепкий, стал понемногу сдавать, отношения были возобновлены. Было это в начале 70-х годов, ближе к их середине. Жили мы тогда уже в другом городе, но бывали у них наездами, к этому времени полковник перестал с нами спорить, а больше спрашивал. Его вопросы нас удивляли: становилось ясно, что у него появились какие-то нетривиальные источники информации. Однажды он мимоходом обмолвился, что слушает зарубежное русское радио и похвалил Би-би-си и "Голос Америки" за объективность. Тогда постоянно читали по радио Солженицына. Полковник старался не пропускать таких чтений.

Мой муж долго не решался сообщить овдовевшему к тому времени родичу, что мы собираемся уезжать, боясь взволновать его. Он сам, старый разведчик, вмиг догадался об этом, когда к нему заехали наши дети, бывшие в том городе в последний раз по делам. И тут он снял телефонную трубку и вызвал нас. "Вы правильно делаете, — сказал он, — не объясняя, что имеет в виду, — Приезжайте прощаться".

О многом переговорили мы в эту встречу... В последний вечер муж ушел в один диссидентский дом передать материал для "Амнести Интернейшенел", действовавшей тогда еще относительно эффективно, и оставил нас одних. На душе у меня было беспокойно. И вот что сказал мне полковник в прощальной беседе.

"Слушай меня внимательно. Теперь для засылки своих людей на Запад КГБ не нужно заботиться ни о сложной биографической легенде, ни о совершенном владении иностранным языком. Эмиграция позволяет отправлять их в любом количестве в Израиль и другие страны легально и без такой подготовки. Я не хочу сказать, что среди эмигрантов их много, но они есть. Не забывайте об этом. Я знаю, что говорю. Израильская служба безопасности работает хорошо. Мне приходилось с ней сталкиваться. Им, конечно, известно то, что я вам сообщил, да и другим контрразведкам тоже. Но все-таки напомните израильтянам об этом лишней разок".

\* \* \*

Из моих рассказов о людях, которых я знала в СССР, при желании можно сделать оптимистический вывод, что у ЦКГБ-КПСС и вовсе нет прочной опоры в обществе. Это не так. Во всех слоях народа есть люди незрячие, безразличные и разными способами ангажированные советским строем. Но есть и великое множество недовольных и неприсоединившихся. Им трудно проявить себя под небывалыми в истории обманом и гнетом. И они чаще всего не знают, чего им хотеть взамен существующего. А если и знают, то кому сегодня понятно, как этого практически добиваться? Вам понятно, читатель? Мне — нет. Пока что я знаю только одно: следует всемерно множить число не приемлющих происходящего.

Невозможно вспоминать прошлое в строгой хронологической последовательности. Мысль непрерывно ответвляется и движется по скрещениям и параллелям. Поэтому еще несколько слов о чувствительности подавляющего большинст-

ва нормальных сознаний по отношению к неурезанной и достоверной информации. Все на тех же курсах, где часто приходилось балансировать на грани дозволенного, время от времени ее переступая и постоянно ожидая провала, задан был мне однажды лобовой вопрос: "Как вы относитесь к произведениям Солженицына?"

Вопрос прозвучал во время урока, в дни самой ожесточенной травли Солженицына и Сахарова. А в аудитории, как уже было сказано, сидели и милиционеры, и младшие работники "органов", и судейские служащие, готовившиеся поступать в юридический институт. Что следовало отвечать?

"Я берусь судить, — сказала я, — только о тех произведениях Солженицына, которые я читала". И перечислила все изданное Солженицыным в СССР, указав, где и когда это было издано. "О нечитанном я судить не берусь, потому что у меня есть тяжелый опыт. В конце 30-х годов нам в школах рассказывали о тяжких приговорах некоторым широко известным писателям и успешно убеждали их одобрять. А после 1956 года всех этих писателей посмертно реабилитировали. И оказалось, что их уничтожили по ошибке".

В аудитории стало тихо. Потом прозвучал новый вопрос: "А как вы относитесь к опубликованным произведениям Солженицына?"

"Так же, как Александр Трифонович Твардовский, — сказала я, — который опубликовал их и написал замечательное предисловие к "Одному дню Ивана Денисовича" в "Роман-газете".

"А в библиотеках не выдают Солженицына", — сказал все тот же упрямый голос. И сразу же раздался второй, принадлежавший молодому человеку, который изредка пропускал занятия, потому что, как он сообщил, в "органах", к сожалению, иногда работают и по вечерам. "Не ставь человека в идиотское положение, — вполголоса произнес второй. — Я тебе после лекции все объясню". И в аудитории раздался смех. К счастью, той единственной, которая потом написала на меня сравнительно безобидный донос, в этот вечер на занятиях не было.

\* \* \*

С изучением пьесы Грибоедова связана еще одна памятная для меня история. На курсах преподавались по двухлетней программе немецкий, английский, французский и польский языки, одно время даже испанский. Многие слушатели готовились к поступлению на факультеты иностранных языков. Курс русского языка и литературы был годичным. Иногда, не поступив с первой попытки, абитуриенты возвращались на курсы и проходили тот же материал повторно. Некоторые посещали курсы, находясь на действительной службе в армии. Одним из таких слушателей был Юрий Ф., служивший в нашем городе в каких-то хозяйственных частях с облегченной нагрузкой. Его отец был инвалидом войны, безногим, горьким запойным пьяницей. Мать работала уборщицей и разносчицей в овощном магазине. Жили они в заводском районном центре, часах в двух езды электричкой от нашего города, в длинном одноэтажном бараке, построенном еще в начале 30-х годов. Умывальник и уборная находились в конце коридора, ими пользовались восемь семей. Когда жить общим котлом с отцом стало совершенно невыносимо, мать разгородила барачную комнату оштукатуренной перегородкой в один кирпич. Отец, бушуя, ломал ее несколько раз. Вот в такой обстановке рос мальчик с неожиданно аристократической внешностью: красивые руки, тонкое матовое лицо с продолговатыми карими глазами над чуть выступающими скулами — и, как выяснилось, с уникальными способностями к языкам.

Заговорил он со мною впервые письменно, в сочинении о Чацком. Это было странное сочинение: уйма орфографических и пунктуационных ошибок и своеобразный, богатый словарь, сложный синтаксис свободно владеющего языком человека. Авторы сочинений, пленяющие "лица необщим выраженьем", нечасты в советских учебных заведениях. Как я уже говорила, подготовка к выпускному, а значит, и вступительному, сочинению сводится к усвоению старшекласниками ряда строго очерченных композиционных схем и нескольких наборов смысловых штампов, построенных на однозначно

предопределенной идеологической основе. С сочинениями другого рода ни школу окончить, ни в институт поступить нельзя. Но сочинение Юрия было всплеском непосредственных впечатлений от выслушанной в аудитории и затем внимательно прочитанной пьесы, и завершалось оно его самоотжествлением с Чацким. Я, разумеется, не помню текста дословно, но смысл передаю точно, Юрий писал, что, если бы он в школе, в армии, в цеху, где он работал до армии, на комсомольском собрании или здесь, на курсах, высказал бы с откровенностью Чацкого все, что он думает о нашей жизни и о начальстве, транспорт вызвали бы без его просьбы, И вряд ли он скоро вернулся бы оттуда, куда его отвезли бы. И еще он писал, что Чацкие есть и сейчас и что, наверное, всегда есть люди, которые зорче и чувствительнее, чем окружающие. И выражал сомнение в том, умно ли так открываться перед чужой и вздорной толпой, как это делает Чацкий. И опять я, как всегда в таких случаях, исправила грамматические ошибки» и написала, что прошу подойти ко мне после лекции.

Курсы кончались поздно вечером. Мы долго шли с Юрием пустыми улицами вместо того, чтобы сесть в троллейбус. Потом распрощались и поехали в разные стороны: он спешил в казарму. Я дала ему свой адрес и телефон. В воскресенье, взяв увольнительную, он пришел к нам домой. Вскоре я знала все о его семье, о его намерении во что бы то ни стало получить хорошее образование и жить не так, как его родители. Он хотел окончить два факультета: иностранных языков и журналистики — и стать заграничным корреспондентом. Но одновременно его живо заботили темные черты окружающего: тяжесть жизни, фальшь, ложь, повальное пьянство, сплошное безразличие людей к работе, неравенство, смутность будущего. В официальные декларации он не верил. Он мало хороших книг прочитал и не слушал иностранного радио, но был наблюдателен и чутьем угадывал острое неблагополучие жизни, его окружавшей. И, подобно Людмиле и Саше Л., надеялся, что, обретя определенную квалификацию и положение, многие клубки сумеет распутать.

У меня за спиной был горький опыт с такими вот интеллигентами в первом поколении. Уловив их наблюдательность и чуткость по отношению к действительности, я — молодая тогда учительница — любовно обрушивала весь свой жизненный опыт, все свои любимые книги, интересы, сомнения, выводы, планы. И человек, едва-едва подошедший — не к книжности — к преддверию книжности и гражданственности, захлебывался в этом потоке. И либо отступал, испуганный огромностью того, что надо познать, либо вырастал неврастеником или скобоченным полузнайкой, без фундамента под ворохом чужих суждений.

Ко встрече с Юрием я уже знала, что духовное развитие должно быть последовательным, что его необходимо прогрессивно дозировать и что без некоего общекультурного основания, позволяющего судить о жизни хоть сколько-нибудь ответственно, всерьез обсуждать интересующие Юрия вопросы нельзя.

"Если вы действительно хотите стать журналистом и хорошо изучить какой-то иностранный язык, — совершите подвиг: научитесь за год без ошибок писать по-русски. Я помогу вам, И вдумчиво прочитайте писателей, которые входят в курс русской литературы восьмого и девятого классов. Ваша неграмотность мешает читателю всерьез относиться к тому, что вы пишете. Вам придется очень много учиться. Докажите себе, что вы на это способны. Вы сделали в первом своем сочинении десятка два грубых ошибок — в последнем — в мае этого года — сумеете не допустить ни одной. Это очень трудно, но окончить как следует два факультета не легче. Относительно злободневности драмы Чацкого вы, конечно, правы. Вы это знаете и без меня. Но высказывать подобные соображения перед университетской приемной комиссией не более разумно и уж во всяком случае гораздо опаснее, чем в доме Фамусова. Имейте это в виду..."

Я преподавала Юрию язык и литературу на курсах и у себя дома. Разумеется, нам не удавалось избежать разговоров о жизни и отвлечений в историю СССР и КПСС. Я очень старалась, чтобы главным для Юрия оставалась учеба, но посте-

пенно для него делались все более явными мои взгляды и все лучше известной моя биография. Он делал в учебе поразительные успехи. Через два года, когда он окончил наше двухгодичное французское отделение и дважды прослушал мой курс, по-русски он писал без ошибок. Кроме того, он прочел множество книг и преуспел во французском (преподаватели у нас были отличные).

На вступительных экзаменах в университет ему не потребовались положенные демобилизованным льготы (прием вне конкурса): он сдал все экзамены на пятерки. При его стерильной анкете его поддерживали и оценок ему не занижали. Он был принят и вскоре попал в группу особо интенсивного изучения двух языков, основного и дополнительного, где готовили, как было объявлено студентам, переводчиков высокого класса. Им еще сообщили, что лучшим из выпускников предоставят возможность стажироваться за рубежом и затем окончить еще один институт, чтобы они могли специализироваться как переводчики в определенных областях.

Первые полгода, несмотря на адскую перегрузку, Юрий бывал у меня довольно часто, затем стал приходить реже. Зоркий и наблюдательный, он быстро понял, какое учреждение опекает их группу и кого представляет ее куратор. От него не ускользнули ни усиленная идеологическая обработка, которой подвергали студентов группы, ни контроль за их связями и их времяпрепровождением, ни полувоенные взаимоотношения между группой и педагогом-куратором.

В начале второго курса Юрию, который как иногородний жил в общежитии, предложили перейти в корпус для иностранцев, третьим в комнату двух иноязычных студентов. Ему объяснили это необходимостью для него практиковаться в живой разговорной речи. Его соседи по комнате отнеслись к нему неприязненно, ничего ему о себе не рассказывали и, как правило, общались при нем друг с другом на ломаном русском и очень сдержанно. Юрий все еще рассказывал мне о своих делах и однажды, подавленный, сообщил, что его начали вызывать и расспрашивать о знакомствах, интересах и

взглядах его соседей. Он сказал еще, что начальство недовольно его неспособностью завоевать их доверие. Я рассказала ему, что одного из моих давних школьных выпускников, человека мне близкого, студента технического вуза, тоже подсадили к двум иностранцам (немцам из ГДР, так как он изучал на вечерних курсах немецкий). Но как только он понял, чего от него хотят, он собрал свои вещи и вернулся к ребятам, на старое место, в комнату к немцам он не перешел, как его об этом ни просили. От него отстали. Ясно, что в институтскую аспирантуру его не взяли, несмотря на безупречную анкету и диплом с отличием, но и без работы он не остался.

"Мне нельзя с ними ссориться, — сказал, чуть помешкав, Юрий. — Я не буду говорить об этих ребятах никогда ничего плохого. Но прямо отказываться от бесед с начальством я не могу: они сломают все мои планы". Мне стало не по себе.

Постепенно, ссылаясь на чрезвычайную занятость, Юрий стал бывать в нашем доме все реже, не брал в общежитие книг, не засиживался у нас за чтением самиздата, как бывало прежде, не встречал и не провожал меня домой после курсов, как в первое время. В последнюю из таких встреч, на улице, после большого перерыва, он, опустив глаза, но твердо сказал мне, что больше к нам приходить не будет. Улица была пустынной, мы шли медленно, он нес мою сумку с книгами и подавленно, вполголоса объяснял мне, почему на какое-то время должен отказать себе в роскоши общаться с наиболее близкими ему людьми и не читать того, что хотел бы читать.

Это было в конце второго года его университетской учебы. Дело в его группе было поставлено так, что каждый день студентов просвечивали надзором насквозь. Их связи и дружбы должны были быть известны куратору, на их тумбочках должна была лежать добротная рекомендованная литература. Куратор знакомился с их библиотечными формулярами (об этом шепнула Юрию молоденькая библиотекарьша). Может быть, Юрий, по своей впечатлительности что-то преувеличивал, но так ему, во всяком случае, представлялось. Я спросила



его, стоит ли так себя ограничивать и подавлять. Ведь он еще может уйти из этой группы в общую, сославшись на непосильные перегрузки. Можно даже получить медицинскую справку: у него бывали порой мигрени.

Но он ответил, что, во-первых, не может уйти: его тогда не оставят в университете; а во-вторых, он сам очень заинтересован в том, чтобы отлично окончить курс и затем второй институт. Только так он приобретет настоящую квалификацию и возможность выхода за пределы советского мира. Он изучит все: и нашу жизнь, и зарубежную, будет читать здесь и там все, что захочет, на нескольких языках и получит осведомленность, позволяющую оценивать жизнь сознательно и объективно. И бороться по-настоящему, если решит, что надо против чего-то или за что-то бороться.

Я молчала. Мой Чацкий на глазах оборачивался то ли Генрихом Наваррским, которому приписываются слова: "Париж стоит мессы", то ли Жюльеном Сорелем, то ли Расиньяком. Он жаждал завоевать свой Париж и был готов отстоять необходимое количество месс. Потом я спросила, понимает ли он, ценой скольких самоотречений ему придется заплатить за полноту своего успеха — за карьеру доверенного лица известной организации. Он ответил, что никого предавать не будет. "А отказ от дружбы?" — хотела спросить я. Но зачем было спрашивать? Выбор был сделан. Мы больше не виделись.

Если Юрий выдержал все необходимое хотя бы для получения второго диплома, открывающего путь за границу, можно ли положить на его стол ту неурезанную правду, которой он раньше жаждал? Позволит ли он себе сделать из нее выводы, подвигающие на какое-то иное действие?

Не знаю. Решать не берусь. Если Юрий сделал карьеру, к которой стремился, и бывает по эту сторону "зоны" и если ему попадают в руки журналы "зарубежной России" (Ленин), может быть, он прочтет эти строки и вспомнит юношу, написавшего нестандартное сочинение о Чацком. Пусть измерит, как далеко он от него ушел, и решит, жив ли он еще, этот юноша.

\* \* \*

В людях происходят порой невероятные перемены. Я говорю об этом в связи все с тем же вопросом: безнадежны ли властепокорные советские люди для слова правды.

Была у меня соседка по дому — преподавательница английского языка в одном из институтов нашего города.. Язык она знала хорошо: родители когда-то приехали из Америки — строить социализм в СССР. Отец умер рано, избежав участи большинства таких волонтеров — ареста в конце 30-х годов. Мать сохранилась, работая на какой-то незначительной работе, то ли табельщицей, то ли уборщицей. Мы поддерживали добрососедские отношения: одалживали друг у друга деньги до полочки или хозяйственные мелочи. Дочь иногда забегала поболтать, взять книжку. Порой встречались в очередях. Рискованных тем мы не то чтобы избегали — просто они не возникали в нашем поверхностном общении. Разве что поругивали плохое снабжение и наглых продавщиц или мясников, стоя в очередях в ближайших к нашему дому магазинах. Мать Юлии давно уже не работала и постоянно недомогала. Дома она кое-что еще делала, но вне кухни все заботы лежали на дочери. Ей исполнилось тридцать, она была недурна собой, но с браком не получилось. Когда мы познакомились, у нее длился, то прерываясь, то возобновляясь, неудачный роман со старшим и женатым коллегой. Мать нетерпимо относилась к увлечению дочери. Не знаю, чего было в этом больше: пуританства или ревности. В крохотной квартирке, где дочь занимала проходную комнату (их было две, а до этого жили и вовсе в одной — в коммуналке), все события ее личной жизни были уродливо обнажены. Это не способствовало роману Юлии.

Лет за пять до нашего выезда из СССР она получила наконец штатную работу в своем институте (до этого перебивалась на почасовке), и ее назначили куратором одной из групп, где она преподавала английский язык. В обязанности кураторов входит проведение политинформаций в группах. Соответствующие политико-пропагандистские и воспитательные статьи из газет сокращенно докладываются студентам на

специальном еженедельном "политчase" — либо самим куратором, либо кем-то из студентов, под его контролем. Многие преподаватели стараются выбирать для таких занятий более или менее нейтральные и близкие к истине материалы: безобидную текущую информацию, научно-популярные темы, что-то связанное с будущей профессией слушателей, проблемные статьи и острые фельетоны, встречающиеся в официальной прессе. Разумеется, очень трудно не привносить в этот материал тенденциозных официальных оценок, которые в нем всегда наличествуют. Но многие преподаватели-кураторы пытаются хотя бы не заострять внимания слушателей на этих оценках, избегать явной лжи. Это далеко не всегда возможно, и педагоги в массе своей остаются рычагами предписанного свыше идеологического воздействия на студентов, тем более что многие из преподавателей и сами полностью пребывают в поле этого всеобъемлющего воздействия.

Студенты, как правило, не принимают политинформацию всерьез и не задают опасных вопросов. Исключения возникают либо тогда, когда появляется доверие аудитории к информатору (да и то — вопросы задаются тогда чаще не на занятиях); либо в том случае, когда куратор кажется группе сверх нормы непробиваемым, тупым ортодоксом. В последнем случае вопросы ставятся из озорного желания посмотреть, как этот ретранслятор предписанных мнений и толкований выпутается из непредусмотренного положения.

Отвлекаясь несколько от сюжета, замечу, что во время "оттепели" и вплоть до 1968 года (потом обстоятельства для меня изменились, и я уже этого не наблюдала) мне встречались редкие официальные лекторы, искусно вплетавшие в ткань своих установочных сообщений (для членов общества "Знание" и других доверенных пропагандистов нашего района) поразительно содержательный материал. Они сообщали, умело их группируя, такие факты и такую статистику, что перед имеющими уши слушателями возникала отчетливая картина действительности. Двух таких лекторов я слушала в пору отставки Хрущева и вскоре после нее. Преемниками свергнутого "волютариста" было тогда неосторожно вып-

леснуто в открытое, полуоткрытое и сугубо партийное обращение море уникальной статистики. Установочные лекции, о которых я говорю, охватывали области экономики и планирования, демографии, экологии, культуры, международное положение, внешнюю и внутреннюю политику и т.д. Цифры, факты и ситуации подкреплялись ссылками на официальные источники.

В ту пору и в официальную периодику проникло немало одиозных статистических данных и уникальных сюжетов. Эти ссылки давали нашим двум лекторам необходимое легализующее алиби. Приводимые ими данные включались в столь талантливо сделанный контекст и сопровождались таким подтекстом, что официальные трактовки и оценки, с которыми все это перемежалось, жухли и опадали, как увядшие листья. Помню, в 1967 году, после лекции о войне на Ближнем Востоке, одного из этих двух виртуозных просветителей окружили слушатели и кто-то из них с ожесточением стал бранить Израиль. "Не злобствуйте!" — бросил ему не глядя украинец-лектор. Это короткое уничтожительное "не злобствуйте!" сразу выявило в толпе людей разных воззрений.

В 1968 году меня исключили из общества "Знание". (В предыдущих очерках я описала историю своего вступления в партию после XX съезда и исключения из нее в 1968 году.) Изгнанная из общества "Знание", я была лишена возможности посещать лекции этих двух удивительных мастеров преодоления казенной дезинформации. Произнести вслух с почтительным уважением их имена можно будет нескоро. И судьба их мне неизвестна. Скажу только, что такие изошренные спасатели правды были и среди их слушателей, и в школах, и в вузах. Как обстоит дело сегодня, не знаю, но думаю, что они встречаются и сейчас, — помимо тех открытых подвижников, о мученичестве которых мы читаем в зарубежных русских изданиях.

Беспартийная Юлия к числу разительных исключений в рядах советских педагогов и пропагандистов не принадлежала. Она готовила политинформацию по газетам и прилежно высиживала нудные, утомительные инструктажи, конспекти-

руя их привычно бездумно. Все катилось по наезженным рельсам (студенты дремали или занимались своими делами; она или кто-то из группы бубнили нудную жвачку), пока в группе не появился возмутитель спокойствия. Юлия рассказывала мне о нем, бледная от возмущения.

Студент-первокурсник родом из Западной Украины, отслуживший до института в армии, начал не только задавать ей на политзанятиях рискованные вопросы, но и отвечать на них по своему разумению, противореча ее ответам. Более всего занимала этого юношу национальная проблематика. Но и отсутствие в СССР демократических свобод не оставляло его равнодушным. А также затруднения экономические, в анализе коих он заходил весьма далеко. Из рассказов Юлии трудно было понять, дразнит ли ее языкатый мальчишка так неосторожно или пытается просветить своих товарищей.

— Что мне с ним делать? — восклицала она, цепенея от ужаса при мысли о следующей политинформации.

— Он говорит неправду? — спрашивала я несколько раз, но прямого ответа не получала.

— Он говорит ужасные вещи, совершенно безумные!

— Тогда положите его на лопатки. Докажите — не ему, а своим студентам, — что он лжет. Или болтает чушь.

— Я ничего не могу доказать ни ему, ни им! У него так подвешен язык, что с ним не поспоришь... Его невозможно переговорить!

— Тогда попросите своих коллег, у которых тоже хорошо подвешен язык, дать ему бой. Надо просто показать аудитории, что он всего-навсего безответственный трепач. Есть же у вас красноречивые и опытные коллеги на факультете?

— Ах, все эти наши языкатые умники думают, наверное, так же, как он! Они тоже хорошие вещи иногда высказывают!

И я тут же начала лихорадочно соображать, не говорят ли иногда и в нашем доме при Юлии "такие хорошие вещи..."

Через несколько дней Юлия забежала ко мне с работы:

— Все! Освободилась от этого негодяя! Пошла и рассказала секретарю парторганизации, как он мне срывает политинформации.

И что же партсекретарь? — спросила я после паузы.

— Обещал помочь. Это было дня три назад. А сегодня его на занятиях не было. И правильно, если выгнали: нечего ему делать в советском вузе с такими взглядами!

После этого я к ним не заходила, с Юлией при случайных встречах старалась не разговаривать. И она перестала к нам забегать.

Прошло около года. Один из моих ближайших учеников, поступив на вечернее отделение строительного института, оказался в группе Юлии, которая подрабатывала там на вечернем. Он был моложе Юлии лет на восемь. Она иногда встречала его у нас, когда мы еще виделись, и между ними завязались приятельские отношения. Юноша этот, серьезный, наблюдательный и вдумчивый человек, был полностью в курсе скрытой жизни нашей семьи. Он читал все то, что читали мы; у него лежала часть моих рукописей. Через него самиздат и мои работы попадали к его ближайшим знакомым, которых не знали мы и которые ничего не знали о нас. Узнав, что он иногда провожает Юлию с работы и бывает изредка у нее дома, я взволновалась. Леонид знал от меня историю любителя задавать вопросы, в лучшем случае исключенного из института. Я настаивала на том, что Юлии нельзя доверять, нельзя ей давать нелегальную литературу, нельзя открывать ей свои убеждения, свое отношение к советской и внесоветской жизни. Мой молодой друг, человек корректный и сдержанный, отличался, однако, самостоятельностью поведения. Он мягко, но категорически отклонил мои опасения. По его словам, Юлия, по-видимому, пережила за истекший год какую-то эволюцию. Он не знает, что ее к этому подтолкнуло, но не исключено, что судьба студента, на которого она донесла, и его вопросы, наново ею осмысленные. Во всяком случае, лишнего он ей не говорит и читать пока еще ничего не дает, но о жизни они беседуют много и откровенно. В ней идет неустанная внутренняя работа, которой она делится, по-видимому, лишь с ним. И она отошла уже достаточно далеко от уязвленной, раздраженной и растерявшейся надзирательницы, которая поспешила с доносом в партком. Сегодня она поговорила бы

с тем юношей наедине и попросила бы его не ставить ее в опасное положение, быть осторожней и делиться с товарищами своими мыслями наедине, а не в аудитории, где не может не быть сексотов. Но тут уже ничего не исправить. И нельзя из-за этого несомненно страшного, хотя и совершенного в прошлом ею поступка, перечеркивать ее, нынешнюю, для которой подобный поступок уже невозможен. Мой ученик меня не успокоил, но мне оставалось лишь положиться на его пронизательность.

К этому времени роман Юлии завершился беременностью, которую она сохранила вопреки протестам будущего отца и разорвав с ним всякие отношения. Как-то мы с ней снова разговаривали и опять стали видеться. Мать воспринимала ее беременность трагически, а Юлии очень нужна была хоть какая-то опора в лице старшей и более опытной женщины, Разумеется, впоследствии бабушка привязалась к ребенку ревниво и страстно. Жить им было трудно, и наши отношения постепенно приобрели прежний характер бытовой взаимовыручки.

Но теперь, обсудив очередное житейское осложнение, мы по вечерам, когда бабушка и внучка уже спали, порой разговаривали о проблемах более общих, чем бронхит ее дочки или склероз ее матери. За какие-то полтора-два года Юлия сделала читательницей проходившей через наш дом литературы, в том числе и некоторых моих работ.

Потом уехали в Израиль мы, вслед за нами уехал наш молодой друг. Юлия с нами не переписывается, хотя и провожала нас, и очень сочувствовала нашему решению ехать. Я не знаю, как она сегодня живет и работает, но убеждена, что за поддержкой в партком или спецотдел она больше никогда не пойдет. И будет жить без шор на глазах и вериг на мыслях, а это одно уже может подвигнуть учителя на многое.

\* \* \*

Но практически в подавляющем большинстве случаев власть подчиняет себе учителей в такой же мере, как всех остальных советских людей. Разница в том, что люди других специальностей чаще могут избегать лжи — посредством мол-

чания, но учителя не могут молчать и, следовательно, в силу своей профессии должны служить каналами, по которым до сознания воспитуемых доводится предписанный свыше набор оценок, понятий и представлений. Может быть, "каналы" о чем-то и думают, даже наверняка это так. Но их думы редко проявляются в том, что они преподносят своим слушателям. Даже собственным детям они зачастую не говорят ничего способного посеять сомнения, породить критицизм, противопоставить их в чем бы то ни было чудовищной мощи всевластного государства.

Моя коллега, преподавательница немецкого языка, еврейка, пришла однажды на работу очень подавленная. В ту пору многие уже уезжали, и преимущественно в Израиль, а не на Запад, как позже. Мы с ней иногда говорили об этом. Я даже приносила ей израильские открытки, присланные уже уехавшими друзьями.

В тот вечер, о котором я говорю, на ней лица не было. Мы вышли из школы вместе, и я спросила у нее, что случилось. Оказалось, что сыну пришло время поступать в комсомол, и он впервые столкнулся с необходимостью назвать свое настоящее отчество. Отца все звали Семеном, дома — Сеней. Сын до сих пор и считал, что его отчество — Семенович. Перед его вступлением в комсомол мать сочла необходимым сообщить ему, что по паспорту имя отца Израиль и, следовательно, он, сын — Израилевич. Реакция была ошеломительной. "Как ты смел, — кричал в истерике сын, — имея детей, не переменить свое позорное имя? Ведь это же можно — официально изменить имя, поменять паспорт! Евреи должны жениться только на русских, чтоб дети могли стать русскими! А тут еще это имя! . Что мне теперь делать?!"

"И отец не отвесил сыну пощечину?" — вырвалось у меня.

"За что? — подавленно спросила мать. — Ведь это мы сами всю жизнь скрывали имя отца... Мы сами никогда не говорили при детях ни о еврейском вопросе, ни об Израиле. И вот теперь они страдают, когда приходится называть свою национальность. А что было делать?"

Вот еще несколько зарисовок моих коллег-педагогов.

Молодая преподавательница польского языка, дочь крупного военного, гид "Интуриста", увлеченно сообщала об инструктажах, которые она и ее коллеги получали перед очередным приемом туристов. Ее муж, офицер МВД, был начальником конвоя в одном из пригородных лагерей. Высокий, красивый, подтянутый, белокурый — настоящий "наци" из военного фильма, он часто приходил за ней на работу и, рассказывая о нем, она говорила о том, как он любит свою службу и как интересно было, когда из лагеря сбежал заключенный и его поймали благодаря ее мужу.

Однажды она рассказала в учительской, как один конвоир-первогодок ворвался в кабинет, где шло совещание, очередь из автомата уложил нескольких офицеров и тотчас застрелился сам. Какова подоплека этой страшной истории, мне неизвестно.

Еще одна молодая преподавательница, совместительница из университета, имела служебное отношение к работе с иностранцами. Однажды я зашла в учительскую, когда она разговаривала по телефону. Больше в комнате никого не было.

"Первый просил, — говорила она четким приказным тоном, — забронировать две комнаты — справа и слева от номера. Передала 3-ва. Кто принял?"

Она была милой, элегантной молодой женщиной и часто показывала коллегам вещи, купленные в "Березке".

"Одной хорошей атомной бомбы хватило бы, чтоб уничтожить этот Израиль! Так нет же, терпят их!" — ожесточенно кричала другая моя коллега, когда мы вышли в коридор после краткой политинформации о войне Судного дня осенью 1973 года. "Вы что, с ума сошли?" — вырвалось у меня. Она отмахнулась: "Они все равно в конце концов будут задушены, а нас тут из-за них истерзают!"

Не помню, что я ей отвечала. Во мне клокотала такая злоба, что я в выражениях не стеснялась. Но я не забыла ее ответа: "Если бы я хоть на минуту поверила, что они уцелеют, я бы немедленно туда поехала. Но они все равно погибнут — так лучше уж сразу. И нам стало бы легче!" Вера Михайловна была еврейкой.

\* \* \*

В таком окружении, насквозь просматриваясь и прослушиваясь и в классе, и в учительской, можно ли быть прямолинейно открытыми, говорить о главном при многих?

А говорить о важнейших вещах наедине или в "микробартствах" (Д.Панин), с каждым соответственно его готовности и способности вместить определенную долю и сторону правды, — не значит ли это быть причастным подполью?

Я возвращаюсь к началу этого очерка, к книге П.Григоренко и к ее названию — "В подполье можно встретить только крыс", — которое натолкнули меня на эти воспоминания.

Двойственность подсоветского бытия и связанный с нею страх провала утомительны и тяжелы честному человеку. И понятно, что после многих лет подобного существования, подобной работы нестерпимо хочется обрести относительную безопасность и заговорить в полный голос. Но значит ли это, что те, кто имеют мужество продолжать работать вплоть до провала, уподобляются крысам?

Нет, это не так. В подпольях насильнических государств встречаются друг с другом не крысы, а люди. И пусть бы их становилось все больше. Иногда они множат правдивое слово столь активно и так долго, что, даже уехав, не могут рассказать всего о своей работе, — чтобы не подвести тех, кто был с ними связан и продолжает действовать там.

Я дружу в Израиле с молодой учительницей из Москвы, из года в год перепечатававшей и пускавшей в дальнейшее обращение выпуски "Хроники текущих событий". Ее не знали тогда и не знают теперь вне тесного дружеского круга. Таких людей много.

Преклоняясь перед открытым подвигом, давайте признаем и их заслуги. Им тоже нужна поддержка извне: мощные и целенаправленные радиопередачи, журналы и книги, организационные советы и технические средства. И нравственная опора — признание ценности их работы, очень слабо укрытой от глаз карателей и открытой настороженному людскому слуху.

В коммунистическое светлое будущее вера пропала. Но почему оно невозможно и какого будущего желать детям, знают немногие. Значит, следует распространять это знание.



**Михаил Якубович. Караганда. 1967 г.**



*Надежда УЛАНОВСКАЯ*

## **ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МИХАИЛА ЯКУБОВИЧА**

Михаил Петрович Якубович скончался на девяностом году жизни. Это был последний из оставшихся в живых подсудимых открытых процессов 30-х годов. Полвека ждал Якубович торжества справедливости — реабилитации для себя и своих товарищей по делу о Союзном бюро меньшевиков (1930), — но так и не дождался. Половину этого срока он провел в тюрьмах и лагерях, вторую половину — в Тихоновском инвалидном доме под Карагандой.

Узнала я о Якубовиче в 1955 году, находясь в лагере в Мордовии, из писем мужа, который был сактирован из лагеря и попал в этот же инвалидный дом. В те годы среди его обитателей — старых и больных бывших лагерников — было, тем не менее, немало ярких людей. Все жившие в инвалидном доме дожидались реабилитации, а вместе с ней права поехать в Москву для получения пенсий и жилья. Но из всех находящихся с ним в доме, муж выделял Якубовича. С июня 1955 по 1956 год он много раз упоминал о нем в письмах:

"Я вчера тут беседовал с одним очень образованным и очень умным человеком. Говорили мы на отвлеченную тему — об истории культуры. Собственно, говорил он один, я только слушал, затаив дыхание, и грыз себя за свое полное невежество. Он рассказывал о буддизме, о влиянии египетской и финикийской культуры на развитие греко-римской и вообще европейской цивилизации, о христианской и еврейской религии. Он большой, очень большой старик, но я решил присосаться к нему и вытянуть из него все, что смогу переварить".

"Если не считать моего нетерпения скорее увидеть тебя и дочек, я живу тут весьма неплохо. Гуляю, читаю, беседую с интересными людьми. Я уже писал тебе о встрече с одним бывшим с/д из крупных. На днях, во время прогулки в поле, у нас разговор как-то перешел на такую, казалось бы, отвлеченную тему, как история Киевской Руси. Я и сейчас еще не могу прийти в себя от этой блестящей лекции, с широкими обобщениями. Ну, решительно камня на камне не оставил он от моих представлений в этой части..."

"Ты угадала, мой старик — украинец по национальности. Но в остальном ты ошибаешься. Он фигура в некотором роде историческая, только не украинской истории, а русской. Он даже украинского языка не знает".

"Поспорил на днях со своим приятелем историком. Я повторил ему твою мысль, что мы живем в интересное время, и жить — интересно. На это он меланхолично возразил, что в интересные времена жить скучно, а интересно жить только в скучные времена. По обыкновению, он основательно подкреплял это утверждение историческими примерами, самими по себе очень интересными, но я всецело на твоей стороне. Позиция его, впрочем, понятна: он провел несколько счастливых лет, изучая Смутное время по подлинным документам, увлекся (и до сих пор увлекается) Александрийским периодом древней истории и попутно занимался революцией. Большую часть (25 лет) "интересных" времен он провел в строгой изоляции и весьма скучно. Хотя, правда, наблюдательный пункт у него неудобный, все же жить интересно, очень".

"Мой приятель-историк сильно хворает. Он очень плох, никуда не выходит, и я его ежедневно посещаю. Его воспоминания, когда мне удастся вызвать его на воспоминания, меня очень занимают и волнуют. Он лично знал героев недавнего прошлого, видел их в ореоле славы и величия и потом на дне".

"Воспоминания" Якубовича, которые больше всего занимали и волновали мужа, это были, прежде всего, рассказы Михаила Петровича о процессе меньшевиков.

Якубович начал свою революционную карьеру рано, лет в 15, еще в гимназии. Во время первой мировой войны стал членом ЦК партии меньшевиков. После февральской революции был первым председателем Смоленского совета рабочих и солдатских депутатов, входил в состав Петроградского совета в качестве представителя Западного фронта, присутствовал и выступал на первом Всероссийском съезде советов. Еще до Октябрьской революции стал по некоторым вопросам (например, в отношении к войне) сближаться с большевиками, однако в 1918 году шел в первом ряду демонстраций в защиту Учредительного собрания и, несмотря на то что вышел официально из партии меньшевиков в 1921 году, в партию большевиков никогда не вступал. С 1920 года работал на руководящих должностях в различных советских учреждениях, в том числе управляющим делами в Совете труда и обороны и начальником Управления промтоваров Наркомторга. В этой последней своей должности был арестован в 1930 году, а в марте 1931 года осужден вместе с 13-ю Другими подсудимыми на процессе так называемого Союзного бюро меньшевиков. С тех самых пор Якубович не выходил на волю, получая после первого десятилетнего, дополнительные сроки заочно, без суда и следствия. Встретив его в инвалидном доме, муж опасался, что больной и дряхлый Якубович долго не проживет. Пережил он, к своему собственному удивлению, и моего мужа, и всех своих друзей и соратников, и всех, с кем вместе сидел на скамье подсудимых.

Встретились мы с ним в 1956 году, уже в Москве, куда его впервые пустили после ареста. С 1963 года он приезжал в Москву, по нашему приглашению, каждый год до моего

отъезда в Израиль в 1975 году. Останавливался в нашей квартире у Красных ворот, полученной нами после реабилитации. В промежутках между его наездами мы переписывались. Он сообщал нам, что написал драму в пяти действиях "Борис Годунов". Потом намекнул на то, что взялся за воспоминания о деятелях революции, которых знал лично. Позднее мы прочли "Письма к неизвестному" — серию работ о Сталине, Троцком, Каменеве и Зиновьеве.

Состав Тихоновского инвалидного дома со временем потускнел. Кто умер, а кто уехал, получив реабилитацию. Якубович очень дорожил возможностью приезжать в Москву, и я рада, что смогла ему ее предоставить. Приехав в первый раз, он прожил у нас месяца два. Мы выделили ему отдельную комнату. Он связался со своими старыми знакомыми — с дядей А.Микояна, по фамилии Абов, с которым когда-то был очень дружен, с самим Микояном, под началом которого он работал перед своим арестом в 1930 году. Началось настоящее паломничество, бывали трогательные встречи. Приходили представители "второго поколения" — дети тех, кто проходил с ним по одному делу, и тех, с кем он сидел, дети расстрелянных и замученных. Еще в лагере Якубович приобрел друзей среди этого более молодого поколения. Например, был близок с публицистом М.К. С Аркадием Белинковым познакомился, но не сошелся. Он не понимал нетерпимого отношения Белинкова к факту своего пребывания в лагере. Белинков возмущался: "Я должен книги делать, а не сидеть!" Якубович же "сидел спокойно" и не жаловался.

Тем, кто приходил к нему, Якубович читал два из написанных к тому времени "Писем к неизвестному" — о Каменеве и Зиновьеве. Тогда он еще не решился пустить эти "письма" в самиздат, а читал их вслух.

Мы с мужем встречались с ним, главным образом, на кухне, за едой. Якубович, несмотря на физическую немощность, был человеком легким в быту.

Нас очень интересовали подробности процесса, подсудимым которого был Якубович.

К середине 60-х годов мы уже знали, что процесс этот был

первым из серии спектаклей, разыгранных по аналогичному сценарию, но некоторые моменты оставались неясными. Но Якубович избегал говорить о процессе. Понятно, ему было тяжело рассказывать о том, как он не выдержал мучений и признался Бог знает в чем. А Якубович вообще не любил говорить о себе лично. Кроме того, пришлось бы резко высказываться против власти, а этого он предпочитал не делать. Вообще, из разговоров с ним выяснилось, что политические его взгляды мало изменились за годы, прошедшие с ареста. То ли он по инерции оставался тем, кем был — социалистом и марксистом, искренне защищавшим от наших нападок Октябрьскую революцию, то ли просто не забыл преподанных ему уроков и был осторожен в своих высказываниях. Так или иначе, в нашей среде он определенно производил странное, архаическое впечатление. И при этом был, безусловно, человеком мужественным, честным и правдивым.

Основным занятием Якубовича, когда он гостил у нас, было чтение. К его приезду я готовила все, что появлялось интересного за год. Когда году в 1966 в самиздате появился роман Артура Кестлера "Тьма в полдень", я дала его прочесть Михаилу Петровичу. Помню, он взял книгу вечером. Утром за завтраком он был очень взволнован: "Как это правильно написано!" И тогда он рассказал о встрече в тюрьме с будущим государственным обвинителем, прокурором Н.Крыленко, с которым Якубович когда-то был хорошо знаком. Одно время Крыленко жил в квартире Якубовича. "Он вызвал меня к концу следствия, когда я уже дал показания, подписал все, что мне продиктовали. Я решил открыть ему как прокурору методы следствия, объяснить, почему я оговорил себя. Но Крыленко не дал мне открыть рта. Остановил меня жестом: "Михаил Петрович, не надо. Я все понимаю. Но так нужно для партии, для страны".

Я с возмущением говорю Якубовичу: "И вы поверили?!" — "Поймите, если бы мы попали в гестапо, в белую контрразведку, мы бы выдержали пытки. Нас поддерживала бы мысль, что мы страдаем за наше дело. А тут? Во имя чего терпеть? Кестлер дал правильное объяснение, но это не вся



правда. Признавались потому, что не выдерживали пыток. А внушение: так нужно для партии, для страны — действовало, потому что помогало прекратить мучения и оправдаться перед собой”.

Так Кестлер помог нам вызвать Якубовича на воспоминания о своем следствии, а также о тех, кто проходил по другим процессам. Он рассказал о том, как лежал в московской тюремной больнице незадолго до процесса Каменева—Зиновьева и слышал, как страшным голосом кричал Каменев: "Почему вы меня мучаете? Оставьте меня в покое хоть здесь!" Он рассказывал о Радеке, с которым когда-то часто встречался и которого недолюбливал, считая циником и нечистым человеком. Радек был корреспондентом на их процессе и, когда подсудимых выводили из зала суда, сказал Якубовичу злорадно: "Допрыгался!" А потом Якубович встретил Радека в заключении, на прогулочном дворе, если не ошибаюсь, в Верхнеуральском политизоляторе. Помню, как приходили к нам Юрий Айхенвальд, внук известного литературоведа, и Анна Михайловна Ларина, вдова Бухарина, и Якубович рассказывал, как сидел в Верхнеуральском политизоляторе с отцом Юрия, как во время следствия над Бухариным Айхенвальда вызвали в Москву для дачи показаний и, вернувшись, он сообщил о встрече с Бухариным в тюрьме, о процессе. Самого Айхенвальда расстреляли позднее. Его сын и вдова Бухарина никогда до этого не слышали ничего о своих погибших близких. В общем все мы, в нашем доме, жили волнующей, напряженной жизнью.

К этому времени Якубовича уже свозили на дачу к Микояну. Он рассказывал, как, работая в Наркомторге под начальством Микояна, он подал ему смету с указанием, что в некую отрасль надо направить, скажем, пять миллионов рублей. Микоян перечеркнул цифру, исправил ее на два. Якубович стал доказывать свою правоту, а Анастас говорит: "Тут уж ничего не поделаешь, сам Иосиф Виссарионович так считает". — "Но это же нелепо!" — "Так что ж, ты будешь спорить с Иосифом Виссарионовичем?"

Потом на следствии, когда выяснилось, что действительно

из-за неправильных ассигнований пострадала промышленность, Якубовича обвинили во вредительстве. Он просил: "Обратитесь к Микояну, он расскажет, как было дело". И когда они встретились в 60-х годах, Микоян говорит: "Надеюсь, вы понимаете, Михаил Петрович, что я ничего не мог поделаться?" — "Теперь-то понимаю, но очень долго понять не мог". Микоян, конечно, молчал, потому и уцелел.

И вот однажды, когда Якубович только что уехал, побыв, как обычно, месяца два, раздается у нас в квартире звонок. Звонит следователь из прокуратуры. Узнав, что Якубовича нет, ужасно расстроился: "Как же так? А он срочно нужен, в его же интересах". Поручил мне вызвать Якубовича в Москву. Через несколько дней второй звонок: "Когда же он приедет?" Пока Михаил Петрович приехал, прошло не меньше месяца. Было ясно, что речь идет о реабилитации. Тогда вообще ходили слухи, что готовится реабилитация осужденных на публичных процессах 30-х годов. Когда Якубович приехал, я немедленно позвонила в прокуратуру. Тот же голос ответил неожиданно равнодушно: "Приехал? Ну что ж, пусть подождет, вызовем". Наконец его приняли. И довольно холодно. Правда, действительно стали допрашивать по делу о Союзном бюро меньшевиков. В какой-то момент следователь как будто заинтересовался и даже изменил тон. И под конец предложил Якубовичу пока не уезжать из Москвы и написать о своем деле. Похоже было, что следователь надеется лично чем-то помочь. Время было еще либеральное, в прокуратуре появились новые кадры. Но вопрос о реабилитации был явно уже решен в отрицательном смысле. Якубович сел и написал "Письмо генеральному прокурору" — коротко, как ему советовал следователь: "чтобы не слишком затруднять начальство". Таким образом появился этот поразительный документ.

Подав Якубович свое письмо, дождался ответа несколько дней, а потом ему позвонил Микоян и сказал: "Чтобы вас, Михаил Петрович, реабилитировать, понадобилось бы пересмотреть дело о Союзном бюро меньшевиков. А это сейчас несвоевременно". Но Микоян своей властью, через Кунаева\*,

\*Вероятно опечатка, правильно - Кунаев. (Д.Т.)

секретаря республиканского комитета партии Казахстана, постарался, чтобы, несмотря на отсутствие реабилитации, Якубовичу была назначена персональная пенсия в сто рублей. Микоян также предложил устроить Михаила Петровича в какой-нибудь из подмосковных инвалидных домов, но тот отказался, не хотел оставить свой дом. Он был там незаменимым человеком. Благодаря энергии Якубовича уровень жизни там был гораздо выше, чем в обычных домах инвалидов, а режим — либеральнее. Существовало даже нечто вроде самоуправления обитателей. К тому же Якубович писал за начальника годовые отчеты и пользовался за это относительной свободой. Поэтому и мог ежегодно ездить в Москву.

Копии "Письма генеральному прокурору" с подписью Якубовича долгое время, по его просьбе, не выносились из нашего дома и потому не скоро проникли в самиздат. За рубежом этот документ появился, насколько мне известно, только раз — в Материалах самиздата, публикуемых радиостанцией "Свобода" (АС 150).

Окончательно стало ясно, что не видать Якубовичу реабилитации, когда в конце 1967 — начале 1968 года в журнале "Вопросы истории" советник юстиции Д.Л.Голиков опубликовал серию статей, в которых, используя показания Якубовича на процессе, характеризовал деятельность Союзного бюро меньшевиков в духе подобных статей сталинской эпохи. Таков был ответ Якубовичу на его письмо,

В один из приездов Якубовича к нам позвонил А.И.Солженицын, попросил разрешения прийти. Помню, что в это время в "Новом мире" был в наборе "Раковый корпус" — Солженицын от нас звонил в редакцию, уточнял технические детали. Якубович, конечно, был польщен и доволен вниманием Солженицына. Встретились очень тепло, беседовали несколько раз по многу часов. Солженицын расспрашивал Якубовича о разных исторических личностях, которых Якубович лично знал, о его процессе, о людях, встреченных Якубовичем за долгие годы скитаний по тюрьмам и лагерям. В следующий приезд Якубовича Солженицын тоже приходил. Отношения были самыми сердечными. Прощаясь, целовались,

Солженицын крестил Якубовича, тот только посмеивался. В промежутках между встречами переписывались. Письма Солженицына по поводу работ Якубовича о Каменеве и Сталине вскоре попали в самиздат. Из них видно, что, несмотря на решительное несогласие Солженицына с "несовременными" (то есть слишком лояльными) взглядами Якубовича, лично к Михаилу Петровичу он относился почтительно и нежно.\*

В 1968 году — помню, что дело было уже после Шестидневной войны — Якубович опять собрался в Москву, взял билет на поезд. А у меня в это время произошел инсульт, и я беспокоилась, что не смогу быть радушной хозяйкой. И вдруг телеграмма: поездка отменяется. Вслед за ней письмо о том, что в инвалидном доме был обыск, с Якубовича взята подписка о невыезде, против него возбуждено дело по статье, соответствующей ст.190-1 УК РСФСР, и все материалы, в том числе и письма Солженицына, конфискованы. Особенно огорчился Якубович, что изъята его драма "Борис Годунов". Неизвестно было, чем кончится следствие. Было похоже, что Якубовичу грозит сумасшедший дом. "Хроника текущих событий" № 10 по поводу дела Якубовича сообщала, в частности: "Следователь, начальник следственного отдела УКГБ майор Коваленко, вел себя — по крайней мере по отношению к самому Якубовичу — вполне корректно. Не корректной была научная экспертиза. Эксперты — профессора кафедр общественных наук Политехнического и Медицинского институтов Караганды Горохов и Мустафин (фамилия третьего эксперта неизвестна), написали свое заключение в духе худших образцов сталинской эпохи. Заключение содержало грубые оскорбления и брань; извращая и фальсифицируя смысл и содержание работ Якубовича, эксперты обвинили его в провокации, контрреволюции, идеологической диверсии, протаскивании меньшевистской идеологии, клевете на марксизм-ленинизм и т.д. Все это относилось не только к мемуарно-политическим, но и к философским, литературным и историческим работам Якубовича.\*\*

\* См. "Политический дневник". Амстердам, 1972, с.275-278.

\*\* См. "Хроника текущих событий". Амстердам. 1976, вып. 1 —15, с.255.

Наконец, через несколько месяцев, дело прекратили. Якубовичу оставили его персональную пенсию, но потребовали отказа от всякой литературно-публицистической деятельности. Изъятые материалы не вернули.

\* \* \*

Когда вышел первый том "Архипелага ГУЛАГ", мы все очень беспокоились, что Якубович будет уязвлен тем, как недоброжелательно написал Солженицын о нем, о его роли на процессе меньшевиков. Одно время мы даже всерьез обсуждали вопрос: не скрыть ли от него выход книги? Но это было невозможно. Он приезжал из инвалидного дома в Москву, чтобы глотнуть свежего воздуха, и почти все время проводил за чтением. К нашему удивлению и облегчению, Якубович отнесся к прочитанному в "Архипелаге" спокойно и сказал: "Что ж, у меня возражений нет. Факты изложены верно, как я ему рассказывал. Оценка фактов — это дело другое".

Открываю "Архипелаг ГУЛАГ" и читаю абзацы, следующие непосредственно за рассказом об аресте Якубовича.

"И тут его вызвал на допрос Крыленко... и вот что сказал теперь Крыленко:

— Михаил Петрович, скажу вам прямо: я считаю вас коммунистом (это очень подбодрило и выпрямило Якубовича). Я не сомневаюсь в вашей невинности. Но наш с вами партийный долг — провести этот процесс. (Крыленке Сталин приказал, а Якубович трепещет для идеи, как рьяный конь, который сам спешит сунуть голову в хомут.) Прошу вас всячески помогать, идти навстречу следствию. А на суде, в случае непредвиденного затруднения, в самую сложную минуту, я попрошу председателя дать вам слово. (!!!)

И Якубович обещал. С сознанием долга — обещал. Пожалуй, такого ответственного задания еще не давала ему советская власть!

И можно было на следствии не трогать Якубовича и пальцем! Но это было бы для ГПУ слишком тонко. Как и все, достался Якубович мясникам-следователям, и применили они

к нему всю гамму — и морозный карцер, и жаркий закупоренный, и битые по половым органам. Мучили так, что Якубович и его подельник Абрам Гинзбург в отчаянии вскрыли себе вены. После поправки их уже не пытали и не били, только была двухнедельная бессонница (Якубович говорит: "...Только бы заснуть! Уже ни совести ни чести..."), а тут еще и очные ставки с другими, уже сдавшимися, тоже подталкивают "сознаваться", городить вздор".\*

Итак, вопреки рассказам Якубовича, вопреки его "Письму генеральному прокурору", вопреки здравому смыслу Солженицын описывает события так, будто разговор с прокурором Крыленко происходил не в конце следствия, когда все уже было позади — и истязания, и попытка самоубийства, и вынужденное сознание Якубовича, — а сразу же после ареста. Получается, что Якубовича пытали неизвестно зачем, толкая на самоубийство и рискуя потерять подсудимого для тщательно подготовлявшегося процесса. Если Якубович сознался с самого начала, то непонятны и слова: "(Якубович говорит: "...Только бы заснуть! Уже ни совести, ни чести..."), а тут еще и очные ставки с другими, уже сдавшимися, тоже подталкивают "сознаваться", городить вздор". У Солженицына определенно получается, что Якубович не сломался под невыносимым давлением, а по доброй воле, с энтузиазмом, "для идеи" взялся сотрудничать с Крыленко в организации процесса.

И когда в 1974 году, после выхода второго тома "Архипелага" один из наших общих знакомых дал Якубовичу прочесть то место в книге, где Солженицын признается в том, что был завербован в лагере опером, — Якубович, придя к нам, рассказывал о прочитанном с большим волнением и даже некоторым торжеством.

Якубович уехал в Караганду и в одном из писем сообщил, что к нему в инвалидный дом явился представитель АПН с

---

\* А.И.Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Лондон, 1973, т.1, с.404-405.

телевизионной установкой и предложил ему выступить о Солженицыне. Якубович воспринял предложение как признание за ним со стороны властей общественной значимости, т.е. как в некотором роде гражданскую реабилитацию. Кроме того, как он и раньше мне говорил, у него с Солженицыным всегда были серьезные разногласия, что тот, по-существу, монархист, а хуже монархиста для Якубовича ничего не было. Но главное он затаил на Солженицына глубокую личную обиду. Якубович согласился на предложение АПН с условием, что его выступление передадут без искажений.

Как видно, АПН не смогло использовать то, что сказал Якубович, потому что о передаче вообще известно только с его собственных слов. Но эпизод этот, естественно, бросил тень на репутацию Якубовича, оттолкнул от него многих и привел к почти полной его изоляции в последние годы.

Я получила это письмо из Караганды, уже подав документы на выезд в Израиль. Солженицына только что выслали из Союза. Нельзя было допустить, чтобы опорочили "Архипелаг ГУЛАГ". Якубович неправды не скажет, но не известно, как смогут использовать его слова АПН и те, кто за этой организацией стоит.

У меня в доме были Джон Шоу и другие иностранные корреспонденты, и я написала в "Геральд трибюн" письмо о том, что присутствовала при разговорах Солженицына и Якубовича, сама давала Якубовичу "Архипелаг" и что у Якубовича не было возражений по поводу того, как Солженицын изложил в книге рассказанные ему факты.

На письмо Якубовича я не ответила. Но через какое-то время наша переписка возобновилась и продолжалась до самого его конца. Советская цензура милостиво допускала любые наши высказывания, в частности не задержала моего восторженного письма по поводу операции в Энтеббе. Михаил Петрович ответил: "Операцию освобождения я считаю героической и о суверенитете Уганды не тоскую". Прямотаки бережное было отношение к нашей переписке. Как видно, власти надеялись — и напрасно, — что с моей помощью получат широкое хождение на Западе выпады против Сол-

женицына, которые иногда делал в своих письмах Якубович.

Не на этих выпадах мне хочется остановиться, кончая свои воспоминания. Мне хочется привести несколько выдержек из последних его писем.

"Посылать Вам "Мысль и материю" я не решаюсь. Вряд ли она могла бы дойти беспрепятственно до Ваших рук. Основные идеи этой работы, в то время еще не написанной, но уже задуманной, я когда-то излагал в беседах Г.В.Плеханову, который, в основном одобрительно отозвался о моих замыслах. Я напомнил Георгию Валентиновичу оброненную в одной из его философских работ фразу: "и камень мыслит", которую я хотел сделать эпиграфом к моей будущей работе. Я улавливал в трудах Плеханова иной оттенок, нежели в "Анти-Дюринге" и других произведениях Ф.Энгельса. И впоследствии поставил своей задачей развить идеи Георгия Валентиновича и на этой "плехановской" базе решился полемизировать с Энгельсом, указывать на его склонность к "дуализму", на непоследовательность его атак на "вульгарный материализм", по его терминологии. Никакого "вульгарного материализма", как я писал в своей работе, не существует, а есть либо "монический" материализм (термин "монический" я позаимствовал у Плеханова) либо материализм "полудуалистический", прикрываемый парадным именем "диалектического". Как видно, воззрения, изложенные в "Мысли и материи", являются вполне еретическими с точки зрения современных академических теоретиков, рассуждающих по теологическому методу, уснащенному материалистическими терминами, но остающимся, тем не менее, традиционно теологическим, чуждым критической мысли. Подзаголовком моей "Мысли и материи" было: философия кибернетики, поскольку я широко использовал в работе новые кибернетические данные науки, не существовавшей во времена Энгельса. Словом, не годится для пересылки по почте моя еретическая диссертация. Ее белой экзemplяр был у меня изъят в 1968 году вместе с "Письмами к неизвестному", а черновой после моей смерти, вероятно, будет употреблен на хозяйственные надобности по месту моего жительства — в инвалидном доме".

"В отличие от Вас, я мало читаю, так как чрезвычайно загружен общественными обязанностями по микромиру инвалидного дома, от которых не могу освободиться. Окружающие ждут от меня помощи и считают, что никто здесь не может оказать ее в более надежной форме и никто не склонен с таким участием выслушивать каждого. Может быть, это и правда, но я очень устал. Пора мне "с колокольни долой".

"К сожалению, мне не суждено видеть в печатном облике свои произведения. И я их, очевидно, до конца жизни не увижу".

18 сентября, меньше чем за месяц до смерти, он написал в своем последнем письме: "Вы спрашиваете, есть ли у нас в доме телевидение. Есть. Один из телевизоров стоит в соседней комнате, в красном уголке. Но я никогда не хожу туда, не смотрю и не слушаю телепередачи. Я избегаю всякого утомления, так как мои силы и без того находятся на пределе. Их едва хватает на мои личные занятия и на ту общественную работу, которую я продолжаю вести в инвалидном доме. Я не могу от нее отказаться, так как коллектив не хочет меня отпустить от "руководства". Люди здесь преувеличивают значение того, что я "стою у руля", но у них есть такая иллюзия. К тому же я теперь почти совсем глух и вряд ли что-нибудь услышал бы из телевизионных разговоров".

Богатому публицистическому наследию Якубовича — из того, что не смогло уничтожить КГБ, — будет, надо надеяться, дана в обозримом будущем подобающая оценка. Я же считаю несправедливым, чтобы единственной эпитафией этому человеку, прожившему долгую жизнь, полную страданий, размышлений и творчества, остались несколько строк из письма, посланного мне старостой корпуса Тихоновского инвалидного дома: "11.X. в 10.30 вечера по местному времени ушел от нас навсегда дорогой Михаил Петрович. Мы все очень скорбим, тяжело переносим его утрату. Ведь Михаил Петрович был столько лет внутренним руководителем всей жизни нашего городка. Теперь его нету, мы как бы осиротели. Похоронили его на Тихоновском кладбище, на днях поставили оградку, железный крест и надпись,

какую он сам захотел. 21.XI, в Михайлов день, мы, его друзья, помянули его. Пусть спит спокойно, много делал хорошего. Вечная ему память и тихий покой его душе".

### **ПИСЬМО МИХАИЛА ЯКУБОВИЧА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР О ПРОЦЕССЕ МЕНЬШЕВИКОВ В 1931 г.**

В связи с проверкой, производящейся Прокуратурой СССР по делу, по которому я был осужден в 1931 г., я представляю следующие объяснения.

Никакого "Союзного бюро меньшевиков"\* в действительности никогда не существовало. Осужденные по этому делу не все знали друг друга и не все принадлежали когда-либо в прошлом к меньшевистской партии. Так, А.Ю.Финн-Енотаевский — в прошлом один из организаторов Московского Рабочего Союза в 1895 г. — со времени II съезда РСДРП в 1903 г. принадлежал к большевикам и, хотя отошел от партийной организации во время империалистической войны 1914—1917 гг., никогда никакой связи с меньшевиками не имел. А. Л.Соколовский в прошлом принадлежал к сионистам-социалистам, к так называемым "эс-эсовцам", но никогда не был меньшевиком. Большинство обвиняемых в той или иной степени имели, однако, в прошлом связь с меньшевистской партией. Некоторые — весьма слабую и случайную (напр. Н.Г.Петунин и Б.М.Берлацкий), другие принадлежали к ее основным и даже руководящим кадрам (И.И.Рубин, И.Г.Волков, А.М.Гинзбург, В.В.Шер, Якубович). Но и те и другие уже давно порвали с меньшевиками при разных обстоятельствах и по разным мотивам. Единственный участник процесса, действительно сохранивший связь с меньшевистским партийным центром за границей (как я узнал от него впоследствии в Верхнеуральском политизоляторе) и даже являвшийся председателем или секретарем меньшевистского "Московского Бюро" — В.К.Иков — ни одним словом

\* О Якубовиче и деле "Союзного бюро меньшевиков" см.: Хроника текущих событий, № 10; Политический дневник, № 33, 63.

не обмолвился перед следствием и на суде о своих действительных партийных связях и о своей действительной партийной деятельности, и даже само существование "Московского Бюро" оставалось нескрытым на суде и на следствии. Между прочим, В.К.Иков был единственным из осужденных по делу "Союзного Бюро", который, по отбытии назначенного ему судом 8-летнего срока заключения в 1939 году возвратился на жительство в Москву и оставался здесь до 1951 г., когда был вновь арестован по другому делу.

Следователи ОГПУ и не стремились ни в какой степени вскрыть действительные политические связи и действительную политическую позицию Икова или кого-либо из других обвиняемых. У них была готовая схема "вредительской" организации, которая могла быть сконструирована только при участии крупных и влиятельных работников государственного аппарата, а настоящие подпольные меньшевики такого положения не занимали и поэтому для такой схемы не годились. По-видимому, эта схема была подсказана работникам ОГПУ руководителями двух уже ранее намеченных вредительских процессов — Промпартии и ТКП\* — Рамзиным и Кондратьевым, которые впоследствии выступали свидетелями обвинения на процессе "Союзного Бюро". Им необходимо было для стройности политической композиции дополнить нарисованную ими схему наличием третьей политико-вредительской организации — социал-демократической. Так мне объяснил, между прочим, посаженный ко мне на несколько дней в камеру — очевидно, для разъяснения следственной ситуации — один из крупнейших участников ТКП профессор Л.Н.Юровский, признавший себя "министром финансов" в "теневом кабинете" Н.Д.Кондратьева.

Идея Кондратьева была с готовностью подхвачена его личным приятелем В.Г.Громаном, которого сотрудники ОГПУ, явившиеся арестовать Кондратьева, застали у него на квартире, что и явилось первоначальным поводом для возбуждения следствия против Громана. Громану было обещано

\* ТКП — Трудовая крестьянская партия.

следствием, что в случае содействия с его стороны в организации процесса вредителей-меньшевиков, ему будет гарантировано возвращение к работе с последующей полной амнистией. Впоследствии, когда осужденные по процессу "Союзного Бюро" были доставлены в Верхнеуральский политизолятор, Громан в помещении "вокзала" с отчаянием и негодованием восклицал: "Обманули! Обманули!" Готовность Громана взять на себя организацию процесса была подкреплена его алкоголизмом. Следователи подпавали его и получали все желательные для них показания. Уже во время процесса, в ожидании отправки после судебного заседания во внутреннюю тюрьму ОГПУ, когда меня возили в одной легковой машине вместе с Громаном, я был свидетелем такого разговора с ним /одного/ из следователей: "Ну как, Владимир Густавович, сейчас подкрепимся коньячком?!" — "Хи-хи-хи, — посмеивался Громан, — уж как всегда!" Деятельным помощником в создании вредительской версии явился К.Г. Петунин — человек малоинтеллигентный, примкнувший к меньшевистской партии после февральской революции и вскоре после Октябрьской победы большевиков покинувший ее. По его рассказам в Верхнеуральске, он "скалькулировал", что наиболее выгодным в создавшихся для него после ареста условиях является действительное содействие следствию в конструировании вредительского процесса, за что он получил от ОГПУ соответствующее вознаграждение в виде возвращения на свободу и предоставления работы... В противном случае он может попасть на длительный срок в заключение и даже погибнуть. Петунину принадлежала мысль составить "Союзное Бюро" по принципу ведомственного представительства\* — из числа руководящих работников соответствующих аппаратов, о которых он слышал, что они бывшие меньшевики. Не зная, однако, в точности политического прошлого названных лиц, он допустил такую неточность,

\* В другой копии этого документа указано подробнее: "...2 человека от ВСНХ, 2 - от Наркомторгв, 2 - от Госбанка, 1 — от Центросоюза, 1 — от Госплана. При этом он назвал поименно этих "ведомственных представителей" — из числа.,."

как включение в составленный им список "эс-эсовца" Соколовского. Следователи были мало озабочены подобной "неточностью" — им надо было получить "признание" намеченных жертв, а были ли они в действительности меньшевиками, им было безразлично.

Тогда началось извлечение признаний. Некоторые, подобно Громану и Петунину, поддались на обещания будущих благ, так же быстро поддался Б.М.Берлацкий, который впоследствии в тюрьме сошел с ума. Других, пытавшихся сопротивляться, "вразумляли" методами физического воздействия — избивали (били по лицу, по голове, по половым органам, валили на пол и топтали ногами, душили за горло и т.п.), держали без сна на конвейере, сажали в карцер (полуодетыми и босиком на морозе или в нестерпимо жаркий без окон). Для некоторых было достаточно одной угрозы подобных воздействий, с соответствующей их демонстрацией. Для других они применялись в разной степени — строго индивидуально, в зависимости от сопротивляемости. Больше всего упорствовали А.М.Гинзбург и я. Мы ничего не знали друг о друге и сидели в разных тюрьмах: я в северной башне Бутырской тюрьмы, Гинзбург во внутренней тюрьме ОГПУ. Но мы пришли к одинаковому выводу: мы не в силах выдержать применяемого воздействия и нам лучше умереть. Мы вскрыли себе вены. Но нам не удалось умереть. После покушения на самоубийство меня уже больше не били, но зато в течение долгого времени не давали спать. Я дошел до такого состояния мозгового переутомления, что мне стало все равно — какой угодно позор, какая угодно клевета на себя и на других — лишь бы заснуть. В таком психическом состоянии я дал согласие на любые показания. Меня еще удерживала мысль, что я один впал в такое малодушие, и мне было стыдно за свою слабость. Но мне дали очную ставку с моим старым товарищем В.В.Шером, которого я знал как человека, пришедшего в рабочее революционное движение задолго до победы революции из богатой семьи, то есть как человека безусловно идейного. Когда я услышал из уст Шера, что он признал себя участником вредительской меньшевистской организации и назвал

меня как одного из ее членов, — я тут же на очной ставке окончательно сдался. Дальше я уже несколько не сопротивлялся и писал любые показания, какие мне подсказывали следователи — Д.З.Апресян, А.А.Наседкин, Д.М.Дмитриев. В ходе следствия часть обвиняемых, в том числе и меня, вывозили для усиления средств физического воздействия в Суздаль, где содержали в старой монастырской тюрьме, предназначенной в царское время для заключения так называемых еретиков. Там, в ответ на требование написать какое-то неправдоподобное признание, я сказал следователю Наседкину: "Поймите, ведь этого никогда не было и быть не могло". Наседкин, человек очень нервный и лично в истязаниях участия не принимавший, ответил мне: "Я знаю, но Москва требует".

Было ли какое-нибудь вредительство в Наркомторге? В планировании использования товаров, в чем меня и Л.Б.Залкинда обвиняли? Не только не было, но и быть не могло. Ведь планы завоза промышленных товаров рассматривались с подробными обоснованиями на заседаниях коллегии Наркомторга. В заседаниях коллегии принимали участие ответственные и опытные партийные работники и эксперты от разных ведомств — ВСНХ, Наркомфина, крупнейших хозяйственных объединений, например Текстильного Синдиката.\* Председательствовал на Коллегии А.И.Микоян, который критически, даже придирчиво просматривал каждую цифру, прежде чем согласиться на ее утверждение. О каком вредительстве в такой обстановке могла бы идти речь? Разве все, кроме меня, были слепцы? Да, я пользовался доверием Коллегии, Наркома и всех ответственных работников, меня знавших (включая Ф.Э.Дзержинского, с которым я непосредственно работал в комиссии СТО\*\* по государственным фондам, где он был председатель, а я при нем управляющим делами). Но это доверие было завоевано обоснованностью и убедительностью докладов, которые я делал, а также многими годами работы в советском государственном аппарате, начиная с

\* В другой копии "комбината".

\*\* СТО - Совет труда и обороны, 1920-1937.

его первоначальной организации, наконец, "советской политической линией", которую я проводил сперва в рядах меньшевистской партии, а затем, порвав с ней в 1920 г., когда убедился, что не смогу повернуть ее на советский путь.

В следственном деле есть показания, написанные моей рукой, в которых перечисляются вредительские акты с указанием номеров, "исходящих" из Наркомторга. Но ведь в тюрьме я ни одного документа не видел и их мне никто не показывал. Эти номера взяты "с потолка" и рассчитаны на то, что их никто не будет проверять. Но был один факт прямого нарушения мною правительственного постановления о бронировании товарных контингентов для Магнитостроя и Кузнецкстроя. И этот факт усиленно использовался следствием как центральный обвинительный материал против меня и доказательство раскрытого вредительства. Но как я совершил это нарушение? Народный комиссар торговли А.И.Микоян вызвал меня и передал устное распоряжение И.В.Сталина снять эти товарные контингенты с Магнитостроя и Кузнецкстроя и, вопреки постановлению СТО, передать их Москве. Я колебался. Но А.И.Микоян сказал: "Что? Вы не знаете, кто такой Сталин?". Нет, я знал. И, конечно, выполнил его распоряжение. А через несколько дней в "Правде" появилась заметка о том, что Якубович не выполняет постановлений правительства и самовольно дает товарным фондам, предназначенным для Магнитостроя, другое направление. Я принес эту заметку т.Микояну. Он обещал поговорить со Сталиным. Не знаю, говорил ли. Когда меня спустя немного времени арестовали, то следователи обвинили меня во вредительстве, разоблаченном "Правдой". Я предлагал спросить Микояна, спросить Сталина. Но следователи надо мною хохотали. Вот в этом "вредительстве" я тоже "сознался". Когда "Союзное Бюро" уже было "сформировано" на междуправительственной основе, его пополняли, по указанию следователей, дополнительными членами. В их числе, между прочим, оказался и В.К.Иков. Неожиданно для основных участников. Как происходило это пополнение, можно судить по примеру М.И.Тейтельбаума. Уже состав "Бюро" был определен и сог-

ласован следствием и обвиняемыми, когда меня вызвали из камеры к следователю Апресяну. В его кабинете я застал Тейтельбаума, которого никто из обвиняемых в своих показаниях не называл. Я знал Тейтельбаума много лет как партийного работника социал-демократа. В прошлом он был большевиком, во время первой мировой войны перешел к меньшевикам, в 1917 г. состоял секретарем Московского комитета меньшевиков, после Октябрьской революции порвал с меньшевиками и работал в заграничном аппарате Наркомвнешторга. Когда я вошел, Апресян поднялся и вышел, оставив нас вдвоем. Тейтельбаум обратился ко мне: "Я уже давно сижу в тюрьме, меня били и требовали признания в том, что я брал взятки за границей с капиталистических фирм. Я не выдержал истязаний и "признался". Это ужасно — ужасно жить и умереть с таким позором. Но следователь Апресян вдруг сказал мне: "Может быть, вы хотите переменить показания, признаться, что участвовали в контрреволюционной организации, в меньшевистском "Союзном Бюро"? Тогда у вас будет не уголовное, а политическое преступление". — "Да, хочу, — ответил я. — Как это сделать?". Апресян говорит: "А я сейчас позову Якубовича, вы его знаете?" — "Знаю". — "Если он согласится принять вас в Союзное Бюро, я не возражаю". Вот он и позвал вас. Товарищ Якубович, умоляю вас, включите меня в это Союзное Бюро. Лучше я умру, как контрик, а не как мошенник и негодяй". Тут в комнату вошел Апресян. "Ну как, договорились?" — обратился он ко мне с усмешкой. Я молчал. На меня смотрели с мольбой глаза Тейтельбаума. "Я согласен, — сказал я, — я подтверждаю участие Тейтельбаума в Союзном Бюро". — "Ну, вот и хорошо, — сказал Апресян, — пишите все показания, а старые я уничтожу". Вот так формировалось "Союзное Бюро".

Ни один из обвиняемых по делу "Союзного Бюро" не принадлежал к числу моих личных друзей и ни с кем из них я не поддерживал до возникновения этого дела дружеских отношений. В.В.Шера, в прошлом моего друга, я не встречал до этого в течение нескольких лет. Мои действительные друзья и товарищи этих лет не были названы мною и к делу "Союз-



ного Бюро" не привлекались. Это были Ю.М.Двойлацкий, Л.Е.Гальперин, М.Л.Никифоров, И.В.Шостак. Никто из них никогда меньшевиком не был. Гальперин (по партийной кличке "Коняга") был членом ЦК большевиков во времена подполья, остальные были членами ВКП/б/ в описываемое время.\*

За несколько дней до начала процесса состоялось первое "организованное" заседание "Союзного Бюро" в кабинете старшего следователя Д.М.Дмитриева и под его председательством. В этом "заседании", кроме 14 обвиняемых, принимали участие следователи Апресян, Наседкин, Радищев. На заседании обвиняемые знакомились друг с другом, согласовывали и репетировали свое поведение на суде. На первом "заседании" эта работа не была закончена, и оно было повторено.

Я был в смятении, как вести себя на суде? Отрицать данные на следствии показания? Попытаться сорвать процесс? Устроить мировой скандал? Кому он пойдет на пользу? Разве это не удар в спину Советской власти, коммунистической партии? Я не вступал в нее, уйдя от меньшевиков, но ведь я политически и морально был с нею и остаюсь с нею. Какие бы преступления ни совершал аппарат ОГПУ, я не должен изменять партии и государству. Не скрою, что я думал и о другом.

Если я откажусь от данных мной показаний, что со мною сделают палачи-следователи? Страшно об этом подумать. Если б только смерть! Я хочу смерти, я ее искал и пытался умереть. Но ведь они умереть не дадут, они будут медленно пытаться, пытаться бесконечно долго. Не будут давать спать, пока не наступит смерть. А когда она наступит? Раньше, вероятно, придет безумие. Как на это решиться? Во имя чего? Если бы я нашел бы нравственную опору своему мужеству и ненависти к ним. Но ведь я не враг. Что же может побудить меня на такое отчаянное поведение на суде?

\* В другой копии дальше: "Двойлацкий — член президиума Коммунистической Академии и начальник Экономического Управления Наркомторга, Никифоров — председатель правления Резинотреста, Шостак — мой зам. по Управлению промтоварами".

С такими мыслями и в таком душевном состоянии меня вызвали из камеры и привели в кабинет, где сидел Н.В.Крыленко, назначенный государственным обвинителем на наш процесс. Я знал Н.В.Крыленко давно, еще с дореволюционных времен. Знал близко. А в 1920 г., когда я был Смоленским губпродкомиссаром, он приезжал в Смоленск в качестве уполномоченного ЦК партии и ВЦИК Советов по наблюдению за хлебозаготовками. Некоторое время он жил в моей квартире, мы спали в одной комнате. Словом, я и Крыленко хорошо знали друг друга.

Предложив мне сесть, Крыленко сказал: "Я не сомневаюсь в том, что вы лично ни в чем не виноваты. Мы оба выполняем наш долг перед партией — я вас считал и считаю коммунистом — я буду обвинителем, вы будете подтверждать данные на следствии показания. Это наш с вами партийный долг. Но на процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Я буду рассчитывать на вас. Я попрошу председателя в случае необходимости дать вам слово. А вы найдете, что сказать". Я молчал. "Договорились?" — спросил Крыленко. Я пробормотал что-то непонятное, но в том смысле, что обещаю выполнить свой долг. Кажется, на глазах у меня были слезы. Крыленко приветственно помахал рукой. Я вышел.

На процессе действительно возникло осложнение, предвиденное Крыленко. Так называемая "Заграничная делегация" меньшевистской партии обратилась к суду с пространной телеграммой-протестом, опровергающей материалы происхождения процесса. Крыленко огласил эту телеграмму и, окончив чтение, попросил председательствующего Н.М.Шверника предоставить слово подсудимому Якубовичу. Мое положение было бы затруднительным, если бы "Заграничная делегация" в своей телеграмме, честно отвергая лживые измышления о якобы совершавшемся по ее указанию вредительстве, высказала бы сочувствие к обвиняемым, вынужденным насильем давать ложные показания. Что мог бы я противопоставить таким заявлениям? Но "Заграничная делегация" сама облегчила мою роль. Отвергая обвинительный материал, она вместе с тем заявила, что подсудимые не имеют и никогда не

имели никакого отношения к социал-демократической меньшевистской партии, что это не более как провокаторы, подкупленные Советским правительством.

Тут уж я мог говорить правдиво и честно, изобличая "Заграничную делегацию" во лжи и лицемерии, напоминая о роли и заслугах в истории меньшевистской партии ряда подсудимых и обвиняя меньшевистское руководство в измене революции и предательстве интересов социализма и рабочего класса,

Я говорил с эмоциональным подъемом и силой убеждения. Это была одна из моих лучших политических речей. Она произвела большое впечатление на аудиторию переполненного Колонного зала (я это чувствовал по моему ораторскому опыту) и, пожалуй, была кульминационным пунктом процесса — обеспечила его политический успех и значение. Мое обещание, данное Н.В.Крыленко, было выполнено.

На другой день, начиная свои показания перед судом, А.Ю.Финн-Енотаевский заявил, что он полностью присоединяется ко всему сказанному мною в адрес "Заграничной делегации" и добавил, что я выступал в данном случае от имени всех обвиняемых.

Процесс прошел гладко — с внешним правдоподобием, несмотря на допущенные следствием грубые ошибки в его монтаже. В особенности в эпизоде с якобы имевшим место нелегальным приездом в Советский Союз члена меньшевистского ЦК Р.А.Рейн-Абрамовича. Надо было знать Абрамовича, как знал его я, чтобы понять всю нелепость утверждения о возможности его нелегального приезда в СССР. Во всем составе "Заграничной делегации" не было человека, менее способного на подобный риск. Как на предварительном, так и на судебном следствии мне удалось уклониться от подтверждения моего свидания с ним. Но Громан и некоторые другие подсудимые наперебой рассказывали о своих с ним встречах. Я слышал впоследствии, что Абрамович опубликовал на Западе неопровержимые доказательства своего алиби.

В своей обвинительной речи Крыленко потребовал применения высшей меры наказания к пяти подсудимым, включая

меня. Он не оскорблял меня в этой речи — сказал, что не сомневается в моей личной честности и бескорыстности, назвал меня "старым революционером", но характеризовал меня как фанатика своей идеи, а идеи мои признал контрреволюционными. Поэтому и требовал моего расстрела. Я был ему благодарен за данную им мне характеристику, за то, что он не унижал меня перед смертью, не смешивал с грязью.

В своей защитительной речи я сказал, что преступления, в которых я сознался, заслуживают высшей меры наказания, что требования государственного обвинителя не являются преувеличенными, что я не прошу у Верховного Суда сохранения мне жизни. Я хотел умереть. После дачи мною ложных показаний на следствии и на суде я ничего не хотел, кроме смерти, — не хотел жить, покрытый позором. Когда после выступления я садился на место на скамье подсудимых, Громан, сидевший рядом со мной, схватил меня за руку и в гневе и отчаянии проговорил полупрошепотом: "Вы с ума сошли! Вы нас всех губите! Вы не имели права перед товарищами так говорить!"

Но нас не приговорили к смерти.

Когда после приговора нас выводили из зала, я столкнулся в дверях с А.Ю.Финн-Енотаевским. Он был старше по возрасту всех подсудимых и старше меня на двадцать лет. Он мне сказал: "Я не доживу до того времени, когда можно будет сказать правду о нашем процессе. Вы моложе всех, у вас больше, чем у всех остальных, шансов дожить до этого времени. Завещаю вам рассказать правду".

Исполняя это завещание моего старого товарища, я пишу эти объяснения и давал устные показания в Прокуратуре СССР.

Михаил Якубович  
5.V.1967г.

## БУНИН, ЖЕРОМ БОНАПАРТ И ДРУГИЕ...

Кто-то назвал XX век веком кино и фотографии. Может быть, именно это обстоятельство оттолкнуло многих выдающихся живописцев нашего времени от жанра портрета: к чему он, если любой умелый фотограф способен стать в полном смысле слова конкурентом художника?

Я не хочу повторять, — может быть, в тысячный раз, — в чем отличие фотографии от живописи. Я хочу лишь просто обратиться к работам одного из мастеров портретного жанра Михаила Вербова, интервью с которым редакция публикует в этом номере.

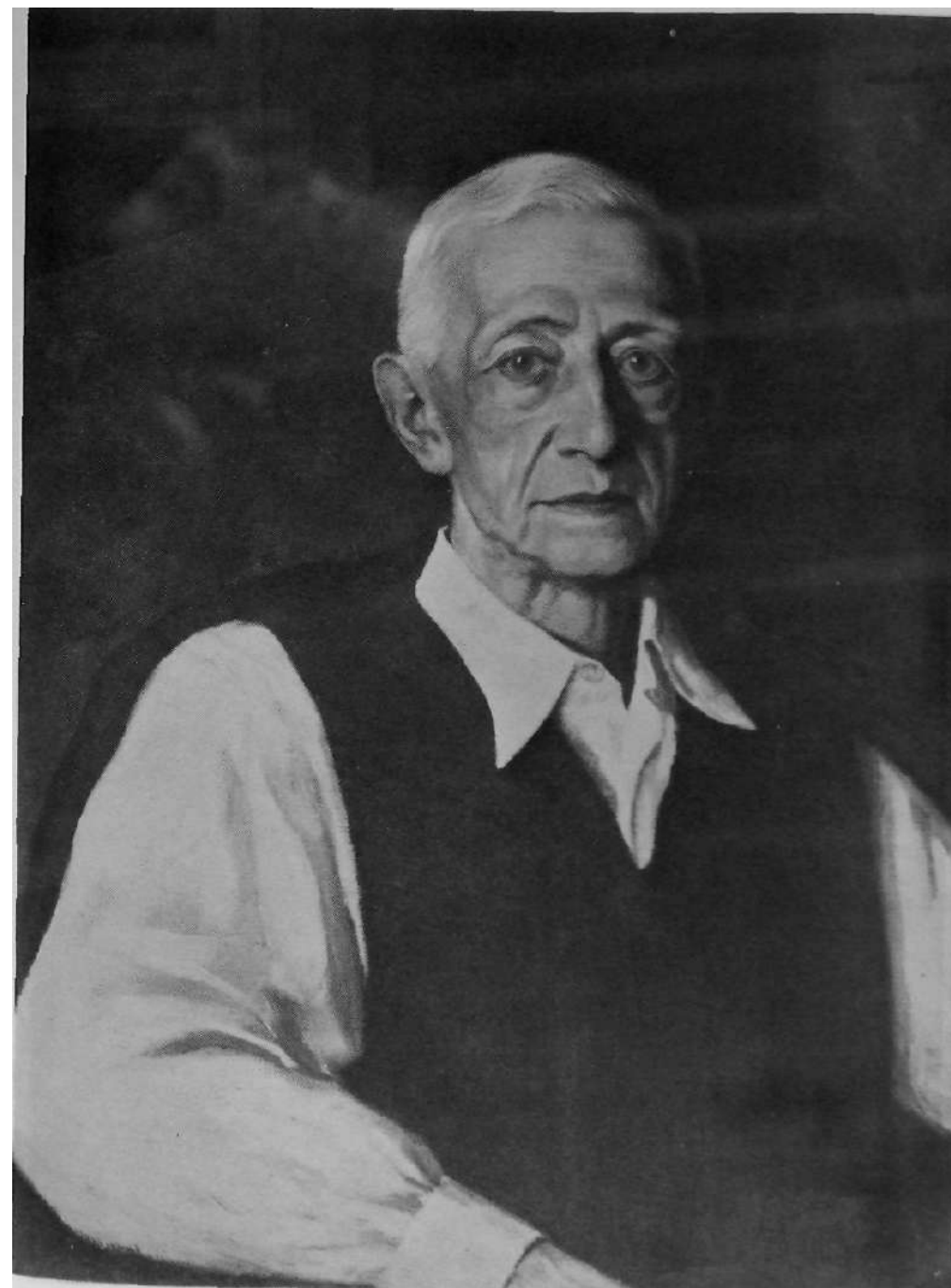
Оговоримся сразу: в художественной манере Вербова нет ни тени модернизма, он художник реалистической, натуральной, репинской школы и потому выглядит даже не очень современно.

Можно предположить, что ряд наших читателей — поклонников авангардизма или иных современных течений — отнесутся к нему не без доли скепсиса: пройденный путь, вчерашний день искусства!

Но тогда почему же журнал "Время и мы" все-таки решил обратиться к работам Вербова и предоставить им достаточно широкое место на своих страницах? Да все очень просто. Михаил Вербов, может быть, один из немногих сегодняшних мастеров, предпринял попытку отразить в портретах целую эпоху. Его Бунин, Керенский, Андре Моруа, Алданов, герцог Альба, Жером Наполеон Бонапарт... — сотни его портретов — и известных людей времени, и простых тружеников — дают в какой-то степени представление о нашем столетии.

Существует понятие — "документы эпохи". Без таких документов невозможно осмыслить и саму эпоху. Может быть, в этом и состоит значение сделанного Вербовым: всякий, кто захочет постигнуть наше время, поймет его глубже, обратившись к работам художника.

*Б. КОСТЕНЕЦКИЙ*



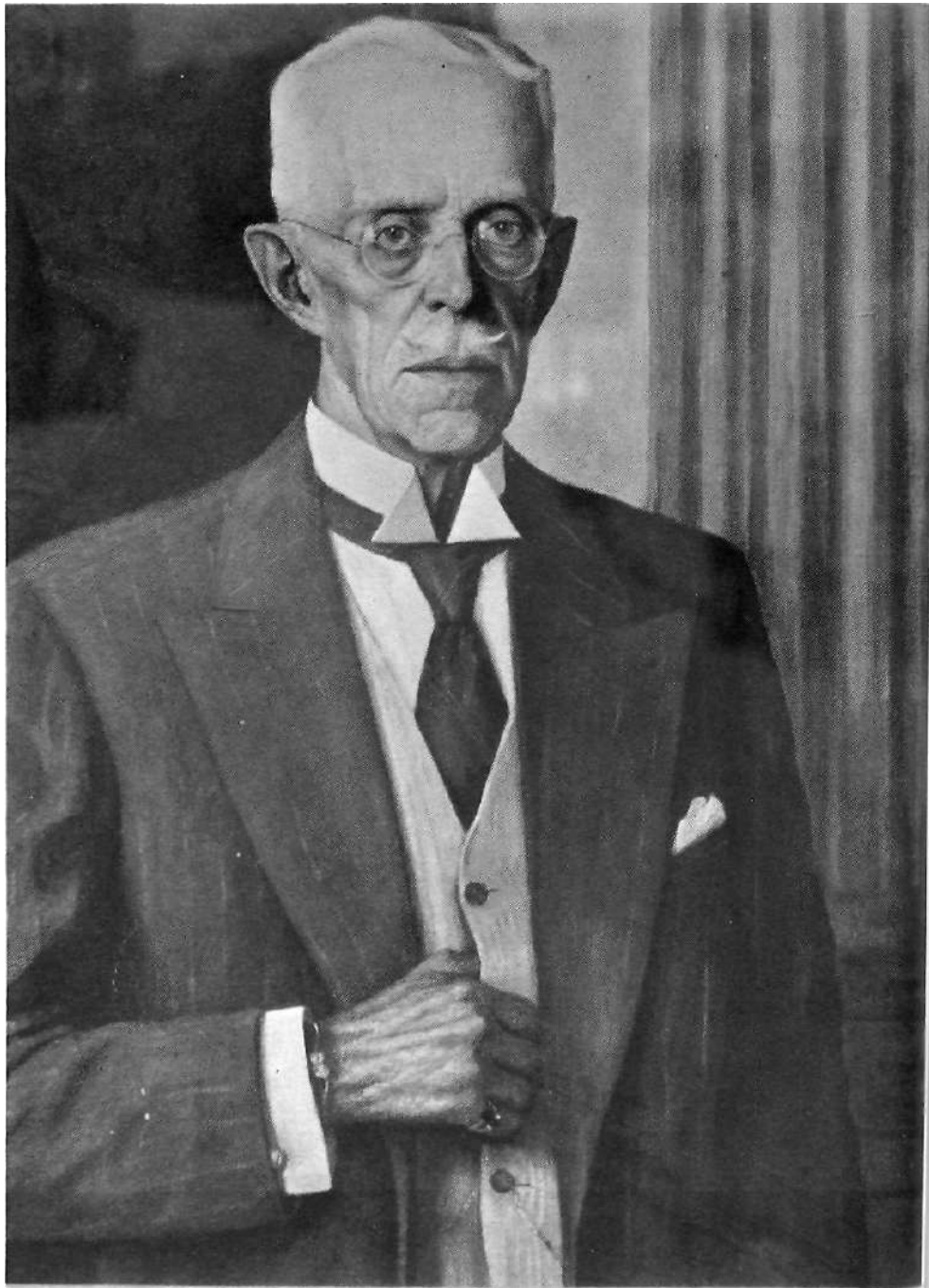
И.А.Бунин. 1961



Семнадцатый герцог Альба. 1951. Преодо, Мадрид



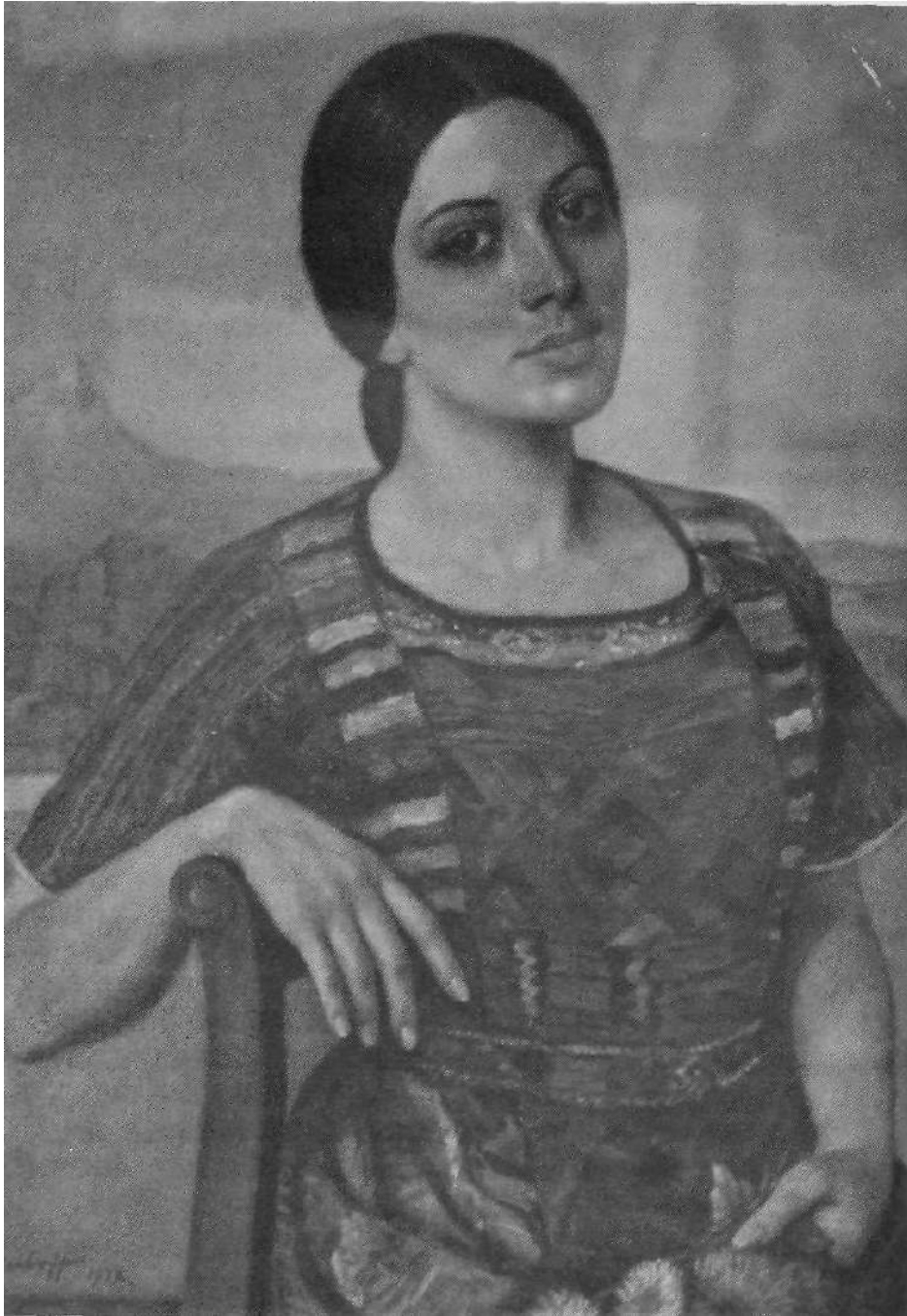
С.Кекконен. 1960. Коллекция У.Кекконена. финлннди!



Король Швеции Густав. 1947. Стокгольм.



Жером Наполеон Бонапарт. 1933



Мексиканская писательница Анна Виктория. 1972



Писатель Марк Алданов. 1942



Писатель Андре Моруа. 1943



А.Ф.Керенский. 1942

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**ДМИТРИЙ ШЛЯПЕНТОХ** — родился в 1960 г. В 1973 г. окончил Московский университет и работал пять лет экскурсоводом Московского экскурсионного бюро. В 1979 г. эмигрировал в США. В том же году был принят в Мичиганский университет. После его окончания поступил в аспирантуру Чикагского университета на исторический факультет.

**ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА** (Юлия Дубровкина) — родилась в 1932 г. в Москве. В 1961 г. окончила сценарный факультет Всесоюзного института кинематографистов. Писала сценарии для кино и телевидения. В Израиле с 1973 г. Постоянно печатается в русскоязычной прессе на Западе.

**ВИЛЕН БАРСКИЙ** — родился в 1930 г. в Киеве. Окончил Киевский художественный институт. Живописец и график. Эмигрировал в 1981 г. Живет в Западной Германии. Участвовал в выставках в Германии и Франции. Как поэт публиковался под псевдонимом Виктор Беленин в журнала "Ковчег" (№ 6). Один из авторов готовящейся в Западной Германии антологии "У Голубой лагуны". В Барскому посвящен "Вернисаж" в № 65 "Время и мы".

**АНДРЕЙ КЛЕНОВ** — см. "Время и мы" № 69.

**ВЛАДИМИР ЛИТВИНОВ** — кандидат исторических наук. В настоящий момент пенсионер. Статья получена редакцией по каналам самиздата.

**ИГОРЬ ЕФИМОВ** — родился в 1937 г. Окончил Ленинградский Политехнический институт. Работал инженером, преподавал в вузе. С 1965 по 1978 г. — член Союза писателей. Выпустил около десятка книг. Еще живя в СССР, печатался на Западе под псевдонимом Андрей Московит. Эмигрировал в 1978 г. После эмиграции на Западе вышли его книги "Метаполитика", "Без буржуев" (анализ советской экономической машины), "Практическая метафизика", "Как одна плоть", "Архивы страшного суда". С 1981 г. руководит основанным им издательством "Эрмитаж". Живет в Мичигане.

**ДОРА ШТУРМАН** — см. "Время и мы" № 70.

**НАДЕЖДА УЛАНОВСКАЯ** — родилась в 1903 г. в еврейском местечке на Украине в ортодоксальной семье. Увлечение революционными идеями и встреча в пятнадцатилетнем возрасте с А.П.Улановским, активным анархистом, прошедшим к 1918 г. через подполье, ссылку и эмиграцию, привели к ее раннему разрыву с семьей и средой. Участница гражданской войны. В 1921 г. Улановская с мужем, хотя они и не были членами партии, были посланы на работу в Германию. В 1927 г. как сотрудники Разведывательного управления Наркомата обороны они работали в Китае. В 1931-1933 гг. Улановские нелегально жили в Америке. В конце 30-х годов Улановская преподавала английский язык в военных учебных заведениях. В начале войны — Н.Улановская секретарь Бюро иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве. Один из них — австралиец Джесс Блонден — после войны выпустил антисоветскую книгу, навеянную, как в данном случае справедливо предполагало МГБ, разговорами с Н.Улановской. В феврале 1948 г. она была арестована и после очень тяжелого следствия получила 15 лет. В настоящее время Н.Улановская живет в Израиле. Воспоминания Н.Улановской печатались во "Время и мы", № 21.

## Do you desire help in SPEAKING ENGLISH?

### NEW CLASSES ARE FORMING for international students, business persons and government personnel.

Conversation Classes meet Monday through Thursday—four days each week, beginning at 9:00 am.. 10:30 am.. 12:00 noon 1:30 p.m.. 4:00 p.m. and 5:30 p.m.

**Grammar Classes** meet Fridays at 12:00 noon — and are open to daily conversation students.

Idiom Classes meet Fridays at 10:30 am.

A Modern Language Laboratory with "Self-Teaching" tapes is open to our students from 9:00 a.m. to 7:00 p.m. daily.

**For Many Years, Hundreds of Students** have benefitted from our Spoken English Classes. Daily readings and conversation utilize an easy-to-understand Bible in a program that is absolutely nonsectarian!

**TUITION IS FREE!** Students buy their own books and pay a small registration fee.

**CLASSES ARE SMALL AND FRIENDLY.**

Phone now—(212) 432-1088

**REGISTRATION — NOW**

**CLASSES BEGIN SOON**

**INTERNATIONAL MISSION**

One World Trade Center, Suite 1425  
New York, New York 10048



**УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:**

Стоимость годовой подписки в США — 43 доллара; для библиотек — 48 долларов; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции:

475-Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017

Цена в розничной продаже — 8.50

Стоимость подписки в Израиле — 1450 шекелей; для библиотек — 1550; с целью экономической поддержки журнала — 1500 шекелей. Заказы и чеки высылать по адресу израильского отделения журнала "Время и мы": Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 350 франков; для библиотек — 400; с целью экономической поддержки журнала 450 франков;

— в Германии — 115 немецких марок; для библиотек — 125; с целью экономической поддержки журнала — 140 марок.

Подписка авиапочтой — 86 долларов.

**ПОДПИСНОЙ ТАЛОН**

Фамилия .....

Имя .....

Адрес .....

Подписной период .....

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на ..... год. Высылать с номера .....

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись .....

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. и высылается по адресу: "Time and We"

**475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK  
NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014**

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

**MAIN OFFICE:  
475 Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017**

OCR и вычитка — Давид Титиевский, январь 2011 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки: М.Вербов. Портрет Реджинальды  
Вандербильт. 1930. Коллекция лорда Фернесса, Лондон**

